

Вячеслав Шаповалов
БЕЗЫМЯННОЕ ИМЯ

К н и г а с т и х о т в о р е н и й



Вячеслав Шаповалов

БЕЗЫМЯННОЕ ИМЯ

ИЗБРАННОЕ XXI

Книга стихотворений

РУССКИЙ ГУЛЛИВЕР

Москва
2021

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6
Ш24

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Издательский проект «Русский Гулливер»

Поэтическая серия

Руководитель проекта Вадим Месяц
Редактор серии Андрей Тавров

Рисунки Джамбула Джумабаева, Susan Suard.

На обложке использован фрагмент картины из серии «Миражи»
Джамбула Джумабаева

Фото Iya Bouvron

Шаповалов, Вячеслав Иванович.

Ш24 Безымянное имя: Избранное XXI. Книга стихотворений. — Вступ. ст.: В. Калмыкова. — М., Русский Гулливер, 2021. — 328 с. (Поэтическая серия).

ISBN 978-5-91627-265-9

Избранная лирика одного из значительных русских поэтов — очередная исповедь представителя очередного потерянного поколения: это человек «меж двух чужбин», для которого в настоящем утрачен облик прошлого и искажен облик будущего. Россия и Азия — географические символы утраты родины, и и чувство умирающего двоемирия подталкивает автора, как сказали Ч. Айтматов и С. Липкин, к «жертвенной попытке сохранить общее культурное пространство».

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-91627-265-9

© В. И. Шаповалов, 2021
© В. Калмыкова, вступ. ст., 2021
© Дж. Джумабаев, Susan Suard, 2021
© Русский Гулливер, издание, 2021
© Центр современной литературы, 2021

ОТРИЦАНИЕ БЕЗЪЯЗЫЧЬЯ

Воистину, *когда погребают эпоху, надгробный псалом не звучит*. Далеко не каждому поколению доводится стать и мертвецом, и могильщиком; на долю Вячеслава Шаповалова и его сверстников эта сомнительная привилегия выпала.

Гражданская лирика — а русский поэт Вячеслав Шаповалов тяготеет к этому жанру, — больше других областей поэзии кажется переводимой на язык прозы. Представляется как будто достаточным, что, имея определённую общественно значимую идею и обладая умением рифмовать и тем более *чеканить строфы*, поэт излагает свою точку зрения способом, ещё психологами постнатального периода определённым как оптимальный для затверживания. Мысль о том или ином общественном явлении (а ведь аксиома, что гражданская лирика охватывает круг социально значимых и зачастую болевых тем), выраженная афористически ясно и фонетически выразительно, находит сторонников, благодаря чему поэт получает известность и обретает читателей, которые *передают* его друг другу по эстафете, на самом деле не имеющей ничего общего с эстетической реакцией; пресловутое *art poétique* оказывается наилучшим средством трансляции идеологем, признанных правильными там или здесь. Примерно на эту тему в «Литературных дневниках» писал Поль Валери: «К стихотворению мы подходим так, как если бы оно распадалось (и распадаться должно было) на прозаическое высказывание, автономное и самосузное, и на некий фрагмент своеобразной музыки, более или менее сходной с музыкой в узком смысле — той, какою способен звучать человеческий голос. Эта музыка, однако, не поднимается до пения, каковое, кстати сказать, равнодушно к словам, ибо зиждется исключительно на слогах». Под прозаическим высказыванием, вестимо, Валери понимал такое, «которое и в иной формулировке служило бы той же цели».

Вячеслав Шаповалов, родившийся, сформировавшийся и всю жизнь работающий в Бишкеке, столице советской Киргизии и независимого Кыргызстана — то есть, по имперскому географическому счёту, в *провинции*, правда, не такой уж глухой и без моря, — в предыдущих двух книгах, «Чужой алтарь» (2011) и «Евроазис» (2017), высказал, с такой точки зрения, сожаление

о культурных последствиях распада СССР. Однако то, *как* он это сделал, опровергает тезис о переводимости гражданской лирики на язык прозы, какой бы она ни была; включив часть стихотворений в «Безымянное имя», свою новую книгу, он ещё больше усилил собственно поэтический контекст, увеличив концентрацию *непереводимого* до полного опровержения любых внеэстетических тезисов. Нельзя никаким образом, кроме единственно выбранного, изложить поэтическую идею, допустим, таких четырёх стихов:

Своих вожаков пожирая, европами призрак бредёт,
и бредит морозная стая десертом российских широт,
разверстою плотью аллея в андреевской голубизне —
и чёрный квадрат мавзолея ликует в багровом огне.

(«Сомнамбула»)

Здесь фон — беззащитная и безразличная протоплазма социума, порождающая и уничтожаемая среда, в которой *брести* и *бредить* — единый процесс. Малевич с Марксом, Ахматова с Андреевским флагом растворены в пропорции 1:1. Весь образный ряд почему-то представляется пожраным чудовищем, облым, стозевным и *лаййй*. Неявное страшное не становится более пугающим из-за *багрового огня*: и без него, если вчитаться, ужаса нагнетено довольно.

Нельзя пересказать, что называется, своими словами поэтический цикл «Вечерний звон (Реквием русскому паломничеству в Киргизию)», хотя исторические факты содержатся в любом соответствующем источнике. Однако произведение к содержанию несводимо. Шаповалов пишет, конечно, и о собственных предках-переселенцах, но получают стихи о встрече двух языков, двух просодий, двух ветвей народной поэзии, чьё совместное бытие парадоксально случилось — и естественным образом распадается ныне, чтобы в будущем, лет через 50, не ранее, породить, как всегда бывает, новый сладостный миф, который будет подкреплён, если позволительно в это верить, магией созвучий внутри каждой строки «Реквиема», усложнённой, отягчающей самое себя рифмовкой:

не тронешь Воронеж чёрной земли — а на чужой замри
повыпили кони ночные ручьи Россия реки твои

близка высота Каракол-ата напхни про новый день
у колкой зари нам дверь отвори мановеньем Чёрной Руки
сердца на весу над речкой Ак-Суу — над маревом Белой Реки
казачий пост отчий погост рукою достать до звёзд
заплачет душа иди не дыша вот хрупкий небесный мост
бездомный с Боома ветер-улан воздастся каждому по делам
как в сказке течёт по горам и долам в зелёной мгле Джергалан
зеленоволные очи земли с небом напололам
цветок до озера доплыви
Господи благослови

«Загубленная страна», о которой тоскует Шаповалов в другом месте («Смерть сказителя Саякбая (Фрагмент фрески “Великий поход Манаса”»)), Русская Азия существует ныне только в головах тех немногих, кто помнит двуязычие, двукультурие, сложившееся значительно раньше советских объединительных усилий. Поэт оплакивает ситуацию, в которой кыргызский эпос «Манас» становился фактом русской, а через неё и мировой культуры; в основе гражданской позиции Шаповалова не геополитические, но лингвистические потери. Геополитическая реалья исчезла, пока ещё жива ментальная, но и ей суждено уйти вместе с теми, кто носит её в себе. Останутся лишь парадоксы искусства: «тень от ветра» («На старых раскопках»), «напевы немоты» («Археографика»)...

Сама война, т.е. вооружённое столкновение, для Шаповалова — событие, апокалиптическое наполнение которого обусловлено распадением языков:

Так и не отгремела, через все времена,
в зеркале архимеда пламенная война:

век твой, твоя работа, скрытый в песках закон —
в зеркале геродота полчища языков

(«Зеркало»)

В стихотворении с диковинным для среднерусского слуха названием «Хвостохранилище» апокалиптическая картина явлена в любой строфе:

Хмуρο дремлет в распадках светлых дух урановых родников,
оборотень мутаций и ветров,
царь невысказанных ответов, истлевающий рудокоп.

Обессиленные камня, смертный профиль гранитных крыл,
бессловесные сочиненья,
уязвленные сочлененья, апокалипсис медных жил...

А непривычное заглавие вдруг отчетливо дешифруется по контексту книги:

Гигантская бездна, где всё поместиться смогло —
история вечности и сотворение твари,
свеченье фаворское, мгла одуренья в угаре,
и числа, и смыслы, и благо, и прочее зло:
вглядеться в тебя, отшатнуться —
но поздно,
и Ты
воззрится в ответ в протоплазму, что мучит фонемы,
за шаг до сознания, что все мы — конечно же, все мы! —
Твои порожденья с тех пор, как отпали хвосты,
мы, блудное чудо, но Божье творенье при том —
и тешимся вечно, от гордости тварной зверя,
то речью ручья и вполне тростниковой свирелью,
ухмылкой сатира, то вдруг бессловесным огнём!

(«Бог есть Язык»)

Сказанного представляется достаточно: перед читателем — создание *художественное* и только. В «Безымянном имени» нет ни одного текста, содержание которого исчерпывалось бы темой; над каждым властвует поэтическая идея, раскрывающая себя в блистающем великолепии звука и торжественном шествии образов. Их чрезмерный масштаб, непредставимый в ином жанре, оправдан направленностью лирики — при ближайшем вчитывании никак не гражданской, но философской: вряд ли это осознанно, но поэзия и не бывает *совершенно осознанной* деятельностью.

Пророческая истина открывается караванщику, погонщику верблюдов, бедуину-измаильтянину-израильтянину (как и гончар, погонщик верблюдов есть и будет всегда, эта профессия вне времени). Смысл откровения смертельно страшен, безмерен и вселенски огромен; обнадеживающего нет ничего в единстве космической картине бытия народов. Подробности поражают сознание, оно блуждает в них и запутывается, теряя себя:

Великий и Шёлковый, Северный или ещё
начертанный клипером под парусами пассатов
путь! — лживая истина, плача, уткнулась в плечо,
но кто же поймёт её? — нет на земле адресатов,
и скудный, безадресный, брошенный — мечется дух,
к щенячьей душе устремилась игла серафима,
и атомный жрец, и адам, бедуинский пастух,
родятся из праха и пеплом взлетают незримо.

Печальный вопрос «зачем» тонет в бездне времён, и путь начинается снова.

Дорога вперёд возможна, потому что есть сила, преодолевающая кровавую историю — язык. Шаповалов грезит об общем праязыке, образ которого, или след, или призрак проходит через множество стихотворений: небывалый и существующий лишь в фантазиях лингвистов, такой язык становится единственной реальностью мира, точкой опоры и отсчёта: «неведомую жизнь итожа, в своём глумливом далеке // услышать тщимся слово Божье на беспредметном языке» («Языкотворец»). В нём слиты мужское и женское начала: «материнская речь породнит своим плачем миры, // а отцовская речь будет чуждую кровь леденить». Он есть цель и надежда, основание бытия:

Только жизнь так мала, чтобы в небо ворваться без крыл! —
вспомним близких, ушедших — надежды отчаянной миг,
что когда-то постигнем тот вещий всеобщий язык,
на котором с пророками молча Господь говорил...

В «Безымянном имени» пять разделов: «В защиту свидетельств», «Вечерний звон», «Карта мира», «...Но слепки душ и силуэты лет», «Руна». «Вечерний звон», кажется, более других насыщен стихотворениями, передающими реакцию автора на современные события: «Имперская элегия», «Недоиммигрант», «Государственное танго», «Ода цветным революциям», «Киргизский дискурс. 2010» и др. Разделы перекликаются друг с другом с помощью преемственных образов и мотивного эха. Вот пример: во втором стихотворении книги, в «Матрице», упомянуты «первосмыслов слепые зрачки», усиленные паронимически: «ментальная тяжесть металла», «матерь матрица». А в последнем разделе, в «Руне», этот образ получает веерное, да простится мне метафора, развёртывание:

Часть Речи, что каждый как Божию силу обрёл, —
праматери-матрицы разум, дарован игрою,
в руках геростратов воняющий нефтью сырою,
не имя, не имя, не имя — но некий глагол!

(«Бог есть Язык»)

В рудных безднах пробьются к слиянию слепые ручьи,
и безмолвье нарушится — слабое Слово найдёт
к двери тёмной вселенной простые, как сердце, ключи,
путь откроет, и в души спокойная мудрость войдёт.

(«Языки»)

«Безымянное имя» — целостный текст, завершённый поэтический замысел; понятный прецедент — поэтическая книга русского символизма. Ориентация Шаповалова на культуру становится всё очевидней; здесь соседство, да что там, *точка схода* Востока и Запада настолько явна, что Киплинг — а в текстах его интонация слышится довольно часто, — удивился бы, с какой небрежной безупречностью и на каком материале (ведь как будто его же собственном!) опровергнута его максима. Перед нами наглядный пример, как легко преодолеть поэзией изложенное афористически, т.е. прозой.

Лирический герой Шаповалова, вслед за автором пережив утрату социальных связей, обнаруживает себя в общемирном пространстве с единой для всех точкой схода. Помещённый в раздел «Карта мира», всё же особняком воспринимается цикл «Рождественские земли» — «Рождество в Вифлееме», «Рождество в Таш-Рабате», «Рождество в России», «Бегство в Египет», «Река Января», «Под рождественской звездой», «Чуйский тракт».

Идея Спасения человечества предполагает Рождество в разных местах и культурах, везде чудесное и нигде не желанное, не ожидаемое, не нужное. В этом цикле культуры не желают встречаться с первоисточком — и вспоминается «Сожжённый роман» Якова Голосовкера, с его пафосом добровольного отречения, когда весь мир оказывается *вторым разбойником*. Но у Шаповалова речь о другом — об индивидуальном выборе и Спасении, о том, что вселенское событие состоялось ради *единственного* человека, т.е. лично каждого, кто встанет на этот путь:

Зачем я здесь, случайный путник,
дита толпы, погрязшей в плутнях,
из всех полупризнаний мутных плету истории каркас,
подглядываю за твореньем и не гнушаюсь повтореньем?..
Но полон мир безмерным зреньем: не видим мы, а видят — нас!

(«Рождество в Таш-Рабате»)

Присутствие этого взгляда и наше пребывание в нём, внутри, постоянно, но нами самими не осознанно и не опознано, наши подмены для нас же оказываются роковыми, оборачиваясь неуверенностью в собственном существовании и в бытии тех, кого мы любим:

Не сорвись, любимая, с небесной скользкой и нечистой высоты,
жизнь тебе дарована над бездной — если это ты. Но вдруг — не ты?
Вслед нам строгий Пётр и кроткий Павел смотрят, с губ срывается:
— Почто,
Господи, почто ты нас оставил?!..

Но безмолвен купол шапито.

(«Цирк "Молодая Киргизия", 60-е годы»)

Тема культуры имеет в «Безымянном имени» ещё один обертон, на сей раз мандельштамовский (Шаповалов довольно часто вступает в игру с Мандельштамом *на его поле*, используя его образы, однако реализуя метафоры на свой лад). Вот-вот станет общим местом упоминание акмеистической *тоски по мировой культуре*. Но в том-то и дело, что удовлетворена она была не на жизненном материале Мандельштама и его сверстников, и не потому, что право на мирное частное бытие у них было грубо и незаконно отнято. Это счастье выпало следующим двум или почти трём поколениям и именно советских людей, как ни парадоксально, если иметь в виду железный занавес и сопутствующие отягчающие заслоны. В отечественной культуре второй половины XX столетия благодаря первоначальной инициативе Горького и Чуковского действовали две силы, исподволь подтачивавшие основы изоляции: это *художественный перевод* и *книжная иллюстрация*. И если вторая не к разговору, то на первой необходимо сделать акцент, поскольку Вячеслав Шаповалов — практик

и теоретик перевода: он доктор наук, и обе его диссертации посвящены данной проблематике. А переводчики советского времени, имея дело непосредственно с *веществом мировой культуры*, т.е. со словом, значением, смыслом и образом чужого языка, перестававшего в процессе и в результате работы быть *чужим*, приблизили её настолько, насколько это вообще возможно. В этой логике версификаторское штукарство и *многоабуквие* некоторых молодых авторов вполне закономерно: самое лучшее вино может стать отравой и *лучшие слова* даже в *лучшем порядке* — искушением. В каком-то смысле нам доводится нынче «увидеть не начало, но итог» («Два сонета. 70-е») той тенденции, которая десятилетиями оплодотворяла и одушевляла. Однако кажется, что изжитая тоска по *мировой* культуре не получила адекватной замены в культуре *игровой*...

Но в самом широком смысле культура — чудо-дерево, на котором растёт *всё*; будучи системой ценностей, она даёт голос тем, кто безъязык по неумению, т.е. по естественным, а не мистическим причинам. Так, возникает многозначный, многослойный образ русской Трои, которая становится здесь метафорой и античности, ушедшей под спуд и воскресшей спустя столетия, и советского многоязычья, которому, вероятно, предстоит та же судьба. Для Шаповалова в образ русской Атлантиды-Трои входит наш язык со всем его разработанным, разболтанным, тончайшим, ювелирнейшим аппаратом морфем и фонем, жёстко гнутый, всему на свете подверженный, всё во всё принимающий, хранящий предчувствие или пра-чувствование единого утраченного общего наречия, непредставимого в прошлом и неизбежного, хотя настолько же фантастического в грядущем.

Шаповалов принадлежит к современным поэтам, отменяющим или по крайней мере игнорирующим иерархию языковых средств, перемешивающим их в кипящем котле говорения. Такова «Песенка кандагарского деда в сахалинской командировке с припевами (Перевод со старшесержантского)», где от картины мира, свойственной прототипу лирического героя, не больше половины, вторая же — от *перевода* на общекультурный.

сюда где остров сахалин не долетает баргузин
зато допёрли зейбаржанец и грузин
дома на слом борьба со злом и тектонический разлом
и сам себя под ор подъём зовёшь козлом —

это говорит кандагарский дед, речь от первого лица узнаваема. И «залп град калаш макар максим» — тоже. А «вот мой удел» — уже лирический герой, пускай и с иронией; он же: «россия я твой в погонах мессия // спроси я — ответ один: вечный жид» — уже без, и если вдуматься, то становится не по себе. И неслучаен резкий, нарочитый диалог с Пушкиным, травестированный и оттого звучащий пугающе:

я тутa в месяце таммуз духовной жаждою томлюсь
меня не душит здешний груз иди всё нах
мир мглой томим мне скучно с ним где вечен и невыразим
всех шестикрылых хиросим дымится прах

Паронимия «херувим — Хиросим» — опущенное звено, оно достраивается из культурного кода, пока ещё общего у поэта и читателя. Так же, как и слово «симптом» напрашивается вместо неологизма «синдбад», а «время» — вместо грамматически родственного «имя»:

Спам отжатых мечтаний. Закаты трусливых восходов.
Клещеногому чурке — мечта о небесной касторке
финикийских ветров. Обезьяний синдбад мореходов.
И галеры, галеры — и толпы, до самой галёрки.
Извращайся же, глобус! Сражайся, божественный логос!
Прощайся со мной, моё имя, словами простыми.
Разлохмаченной розы ветров криволапая лопасть —
способ кануть в нирвану, где только моря и пустыни.
(«Карта мира»)

Хвала Создателю, словосочетание «филологическая поэзия» перестало быть у нас ругательным, как лет 30 назад. Поэзия Вячеслава Шаповалова, конечно, филологична: «Глупый индиноплов, никотиновой плоти создание!» («Карта мира») — так сказать может только филолог. Однако изощрённый язык профессионала таинственным образом возвращает читателя к архаичным, доисторическим временам, когда слово находилось в иных связях со своим предметом, все слова хранили следы единства с единственным первым, а разветвляясь, сохраняли нити, связующие их друг с другом. Амплитуда значений, подсказанная и расширенная созвучьями, у Шаповалова настолько широка, что неожиданные ассоциации воспринимаются как естественные следствия так

ведущейся речи: «инок икар пионер // слепоглухие термиты // грезят о музыке сфер» («Звездопад»).

Киплинг был помянут не случайно. Поэзия Вячеслава Шаповалова — мужская, и она продолжает русскую киплингиану прежде всего идеей мускульного усилия по удержанию мира на оси. Но ось эта *словесна*. Это не гумилёвская линия русской лирики. Безъязычье для Шаповалова то же самое, что бесполое пространство для Мандельштама — невозможно, отвратительно, немыслимо, недолжно, неправильно. Русская Азия, на глазах читателя «Безымянного имени» уходящая в область преданий, остаётся в таинственных знаках живого языка, в его образах, в парадоксальных сопоставлениях, в мираадах связей, озвученных поэтом-одиначкой. «В его стихах, — писали в 2003 г. Чингиз Айтматов и Семён Липкин, — тема Киргизии звучит по-новому, впервые на русском языке — изнутри. <...> Рождённый в азийском круге, воспитанный на киргизской поэтической культуре, постигший язык и внутреннюю ткань обычаев, — он подчинился поэтическому фатуму: разделить и выразить всё, что выпало на долю в этом круге оказавшихся».

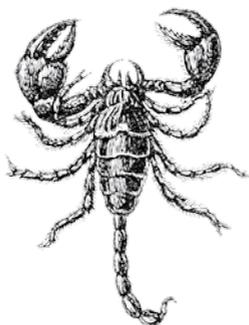
В поэзии Шаповалова звучит уверенность в бессмертии рун. Наивная, по нашему времени, вера в торжество языка и в бессмертие любого описанного явления.

В царственность слова.

Но ведь, если разобраться, оно действительно — царит.

ВЕРА КАЛМЫКОВА

В ЗАЩИТУ
СВИДЕТЕЛЬСТВ



ДОРОГА

Шли мы, покуда могли, заколдованы кровью,
от излучения мглы — к изумленью любовью.

Меря события людьми, вешки ставя при этом:
от поколенья любви — к окрылению светом.

Были года холодны. Всё сиротское счастье:
от поклоненья любви — к оскоплению страсти.

Серою Шейкой во льды да походкой хромою:
от оперенья любви — к окрылению тьмою.

Нас не швыряли в тюрьму, как порой наших дедов,
жили мы — горе уму! — привкус чуда изведав.

Так отчего же порой зябнут руки от страха
на ледяной мостовой — и молчит Андромаха

на полустанке, в степи, жесткий снег утирая —
от прорастанья судьбы в область ада и рая...

Жизнь — позади, мы пришли, в никуда вырастая:
от озаренья души — к пустоте мирозданья.

Но повторяем, хрипя под могильной плитою,
что отворяем себя пред небесной чертою.

МАТРИЦА

Вере Калмыковой

не ищи за деревьями леса
а в песках мановенья воды
всё что в нас тяжелее железа
только отзвук погибшей звезды
только отсвет вселенной багровой
где мгновеньями вечность качнём
мы бездомное пламя сверхновой
злая искорка в небе ночном
смутный разум впотьмах разметала
зов сирот исчезающий свет
лишь ментальная тяжесть металла
нас уверит что нас уже нет
это знание недолго продлится
краткий разум в награду зачти
матерь матрица злая таблица
первосмыслов слепые зрачки

ПЕСЕНКА КАНДАГАРСКОГО ДЕДА
В САХАЛИНСКОЙ КОМАНДИРОВКЕ
С ПРИПЕВАМИ

Перевод со старшесержантского

сюда где остров сахалин не долетает баргузин
зато допёрли зейбаржанец и грузин
дома на слом борьба со злом и тектонический разлом
и сам себя под ор подъём зовёшь козлом
дурилы не обижайте курилы
вам вилы когда сибирь от москвы полыхнёт
кавказы плюс гор памирских проказы
заразы и каждый вор и проглот

итог сынок владивосток там радиации исток
в груди лимонника листок и стронций бел
там много всяких фукусим но ими я не укусим
залп град калаш макар максим вот мой удел
японцы переходите в чеченцы
червонцы и всем народам шахидский прикид
россия я твой в погонах мессия
спроси я — ответ один: вечный жид

тряхнуло блядь а наплевать под одеялом благодать
хоть тыщу лет проголодать придется нам
восходит день бежит олень дороже женщины женьшень
хрен на часах торчит как пень и сам ты хам
далёко алеет бомба востока
дум стоко что ты земля хоть волком завой
всё злее всё горячей и круглее
та гея что греки звали землёй

я тута в месяце таммуз духовной жаждою томлюсь
меня не душит здешний груз иди всё нах
мир мглой томим мне скучно с ним где вечен и невыразим
всех шестикрылых хиросим дымится прах
незваны вот-вот придут океаны
барханы дрожат от бурь закипевших вдали
за нами ещё вернётся цунами
и нас утащит туда откуда пришли

ДВА СОНЕТА

70-е

Ещё дрожит пугливый флюгерок —
бездомный дрон над пристальною башней.
Ещё закат, похожий на вчерашний,
не догорел. Всё скрыто между строк.

Жива надежда в сумерках дорог —
она обманчивее и пустяшней,
чем пополудни, и характер наш в ней:
увидеть не начало, но итог.

Ещё предметы сохраняют цвет,
ещё не все ночные кошки серы,
но дню уже суда и веры нет.

Чем этот миг — а чем он, кстати, плох! —
не смена двух заждавшихся эпох,
истосковавшихся по чувству меры?

90-е

Свершилось! Перед бездною стоим,
ломает плечи тяжесть ожиданья,
горчит в груди искусство выживания,
скукожилась душа, как третий рим.

Уходят дети к алтарям чужим
под дудку крысолова мутной ранью,
мир выдохнешь навстречу умирающей —
но каждый вдох опять непостижим.

Затихнем, веру терпкую тая.
Что толку ныть — её мы звали сами! —
нависла тень: огромная змея

заменит небо. Молча из берлог
ползёт на зов гипноза бандерлог,
как в прежние века под небесами.

СОМНАМБУЛА

На плоть огненосного стяга прожектор глядит, не дыша.
Из сомкнутых стен саркофага
карабкается душа.
Мучителен час, и не спится, истории пуст чистовик,
лишь каменно-юные лица застывших в дверях часовых.
Сомнамбулы лёгкая поступь:
меж граней, гранита, громад
уходит он в ночь, не опознан, мучительным зовом объят,
согбенной бредущей фигурки не ищет чиновный патруль,
проспекты московские гулки на каменно-юном ветру.

Да полно! — то он ли, летящий в безвременье с броневика
на крыльях идеи легчайшей с презрением боевика?
Да полно! — то он ли, ведущий по чёрной брусчатке с тех пор
в чудесный, бескровный, грядущий, немислимо светлый простор?!
Не бросить на прошлое взгляда — его отсекли на века
ледовые ночи Кронштадта, слепые подвалы ЧК,
и смотрит грядущее немо, и миной, заложенной в нём,
пылает звезда Вифлеема, себя пожирая огнём.

Однако эпоха сменилась,
и дух обращается в прах,
чтоб нам пробужденье явилось
бессмертьем, похожим на страх:
принесшее злобную волю, погасло — спроси, отчего? —
покрытое жёлтою болью его восковое чело.

Своих вожakov пожирая, европами призрак бредёт,
и бредит морозная стая десертом российских широт,
разверстою плотью аллея в андреевской голубизне —
и чёрный квадрат мавзолея ликует в багровом огне.
Столетьем доноса и сыска страна эта будет жива,
но Горки — извечная ссылка, обманутый всхлип торжества:
ржавей, людоедка-«Аврора», дари же, безродный борей,
в ликующей плоти террора просторы родимых морей.

Под утро, в минуты глухие идёт он — печаль и укор,
где стены отеля “Россия”, где радостно-скорбный собор,
где слиты видения стали и времени древняя медь,
где русские очи устали на Спасскую башню глядеть.
Соратники плотной шеренгой лежат у великой стены,
без пошлыны взявши в аренду пространство и время страны,
с их мёртвою хваткою волчьей! —
лишь время грызёт нас сильней,
Сатурн, пожирающий молча своих безответных детей.

Бредёт он, не чуя пределов, на чёрной февральской заре,
под эхо вселенских расстрелов, истаяв на смертном одре.
Кто, вставший с событиями вровень до уровня сердца и глаз,
воскликнет: один ты виновен! —
но кто ж тут безвиновен из нас?!
За всё ему тяжкая участь — глядеть без участия и сил,
виной равнодушною мучась, на то, что он сам сотворил.
Ведь в чёрной февральской метели
привычно провидит земля
багровый полёт цитадели,
кровавые крылья Кремля.

ПЬЯНЫЙ КОРАБЛЬ

Стенограмма атомной подлодки

...К настезь распахнутой влаге!

Артюрь Рембо

...Тоже — “к настезь распахнутой”?..

Что же теченье

наклоняется к толщам подводных аркад,

если это арктическое отречение,

то зачем в пустоту упирается взгляд?

Как попал я сюда, после чьих возлияний,

чей начальственный ноготь на карте провёл

борозду, что постылей полярных сияний?

Я — лишь улей

с комком замерзающих пчёл.

Ненавижу бессонниц своих коридоры,

вахт ночных паранойю, ухмылки ракет! —

сквозь броню из титана,

сквозь душу, сквозь поры

рвётся бешеной ненависти

свет! —

мой реактор — горит!

Вот и грянуло время

расквитаться за чёрную долю свою.

Ты, полярная ночь, раствори моё семя —

мой весёлый плутоний — в чернильном краю.

Что со мной? — моё сердце сжимается стыло,

гаснет свет, нарастает щемящая глушь.

Был я домом, теперь я — стальная могила,

отпускаю грехи аж на тысячу душ.

Не успеть никому за крутым поворотом,

славься, тайна военная мощи страны! —

мы чужим катерам и чужим вертолётам

не откроем того, как мы дивно сильны.

Не поспеть к покаянью виновно-невинных,

адмиралы, ползком на кремлёвский ковёр! —

в этих тайнах и тенях, и майнах, и вирах

опускается мёртвой эпохи топор.

Море, чёрный курган, где рабов погребают,

где ты прав иль неправ, не узнает никто,
бескозырки плывут и сердца умирают
в средостеньях кальмаров и песнях китов.
Опускаюсь на дно, вещей боли кромешней —
я покинут командой иль нет, всё равно! —
что мне толку от ваших конвульсий, конверсий,
от конвенций — когда подыхать суждено.
Морячки, отплывайте скорее подале —
ох, сейчас и рванёт моё сердце вразнос!
Я — подводный корабль,
и меня проиграли.
Славься, родина-мать!
Плюнь в ширинку, матрос!

ПЕШЕЧНЫЙ ГАМБИТ

Памяти Натальи Горбаневской

...Вокруг — Шестидесятые года,
вот только имена поизносились,
таблички стёрлись, лозунги забылись,
мир вымер, очужели города.
...Ковчег-планета. Выпускают пар —
семь чистых пар и семь нечистых пар.
Бастилии порушим, с нами Бог,
наш день велик, хотя и век убог! —
срифмуем клиповое либерал
попарно с «убивал» и «умирал»!
...Бивариантны сыскарей труды,
надежд стигматы и галош следы,
кенедианты в старом водевиле,
рейганомонстры, шляпы крокодилы,
андропофаги с черепом во рту —
все бдят: — Евреи тут не проходили?
— Дык вон они, отплыли поутру!
...Ковчег-авианосец. Пекло вод.
Зад — russy, но в межбровье — кукловод.
Два игрока склонились над доской.
Упали веки. Восковые лица.
Грядет оргазм томительного блица,
гамбит промеж нью-йорком и москвой.
Вот клетки: восемь-на-восемь, дресс-код
(для клеток) — чёрно-белые одежды,
попарно пилигримствуют все те, что
зовут в новоегипетский исход.
...Ау, Шестидесятые года! —
прошли, полны невыдуманной болью:
грозы не знали пешки над собою,
секиры грязной взлёта над судьбою —
ах, не про них во облацех вода! —
льнут, юные, к чужому водопою:
темна инакомыслия беда.
Но, тронута холёною рукой,
юнцов и юниц сблёвывает площадь —

и молча государственная лошадь
косит зрачком с кровавою каймой.
...Я дурачка родного подниму.
Но я не сторож брату своему.
Те с лэнгли, те с лубянки — братаны,
чьи лица стряпало одно лекало,
в чьих запонках играет карабах,
полярных стран достойные сыны,
в заветных устремлениях равны,
сдвигают утомлённые бокалы
за мёртвых в укреплённых городах.
...И к праху ветром прибивает прах.

СОБЕСЕДНИКИ

...обломки души

Салман Рушди

Перелётные души на старте сбиваются в стаи,
подставляя крыла либеральным воздушным путям.
Здесь любая судьба состоялась — из горя и стали,
из чего она слепится, птаха счастливая — там?
Что за крылья вручают — мечта на свету, оригами! —
высоко и светло, позади только кухонный чад.
Здесь икары ещё — облетают отчизну кругами,
неокрепшие перья на отчую землю летят.
Их нетрудно понять, им же можно, смеясь, оправдаться:
этот мир — терминал, да и просит природа своё.
Вот и кружат вверх, позабыв притяженье гражданства,
ибо не приземлится на прежнее это жнивье.
А земля велика и не слишком придирчива к грязи,
горечь смоем потоп, остальное — в пожарах сгорит.
Пусть же славят полётом всю скудость и однообразие,
пусть прощаются с детством, прилипчивым, как гайморит.
Пусть простятся,
круги нарезая над ширью заветной,
от межи до межи отмеряя свои рубежи,
оставляя ненужное этой земле безответной —
скорбный скарб, воск воскрылий,
частички души...

ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ

От девочки во тьме, от вымокшего сада
остался лёгкий вдох, нет, выдох — но туда,
где не дрожат огни в утратах листопада,
не плачут поезда, не падает звезда.
Не жаль, что губы стянуты морозом алым
в железной седине и копоти снегов,
что снилось, что швыряло щепкой по вокзалам,
подвалам, чердакам загаженных годов.
За неким городом, среди зимы и зноя
стоит село Степное, зона — у села.
Здесь оглянулась ты и назвалась собою,
но девочки в саду, конечно, не нашла.
Здесь, в зазеркалье дней, так съёживает тело
прозренья: ты одна и короток твой век,
а за колючкой лет у крайнего предела
дичает яблоня и меркнет человек.
Три ангела в цвету с наколкой кабаньей
вломились в жизнь твою под сенью диких нег:
под куполом небес, под вышкою кабальной
томится автомат, слюну роняя в снег,
и щерится закат, и псы взahlёб рыдают,
и строевая вошь вползает в рупор сна,
и Зона вдаль летит, дыша над городами
бессонницей вакханок, вечная страна.
И в потной тишине над скрюченной планетой
счастливый дремлет дождь и реет мокрый сад,
оплачены на миг всё тою же монетой,
что лодочник сгребёт, пуская душу в ад.
И ты лежишь в углу, прикрывшись мешковиной,
три твари над тобой творят смурной делёж,
и гавкает с высот — проснись! — призыв целый,
и слышит всё судьба, ржавая, словно нож.

ХВОСТОХРАНИЛИЩЕ*

Задохнувшееся от натуги, в пересортице душ и тел,
в вековом затаясь испуге,
вот людское гнездо на юге, куда божий гнев долетел.
Из когда-то бронзовой лейки, бормоча «Иль алла вай дод!»,
на руки старушке-калеке
льёт водицу на диком берегу древний скрюченный садовод.

Пальцы горького винограда, молчаливая мощь лозы.
Долетают напевы ада
до газонов райского сада, до высот безмолвной грозы.
Где мертва живая ограда, где в тревожной дреме жилищ
вянет утренняя отрада —
тишь отложенного джихада ты, прислушавшись, ощутишь.

Мчатся юные на мопедах из советских гаражных нор,
в помыслах об отцах и дедах
гаджетов поутру отведав, обналичивая приговор.
Им небесные шепчут скрипки, обещая власть и любовь,
невесомы, светлы и зыбки,
расцветают для них в улыбке лица стронциевых грибов.

Хмуро дремлет в распадках светлых дух урановых родников,
оборотень мутаций и ветров,
царь невысказанных ответов, истлевающий рудокоп.
Обессиленные камения, смертный профиль гранитных крыл,
бессловесные сочиненья,
уязвлённые сочлененья, апокалипсис медных жил.

Оглянись на восход: полмира замерзающего тепла —
там целует тебя лавина,
там багровый огонь Памира, голубая Тянь-Шаня мгла.
И молчат на ветру одни лишь, надрываясь — пришла пора! —
терриконы хвостохранилищ.
Этой тягости не осилишь. Звёзд неведомая игра.

* Кладбище радиоактивных отходов (сов.).

И когда умолкнут навеки телевизоры и города,
и тогда возвратится в реки
истекающая из Мекки зачарованная вода —
осыпаясь, вздохнут ущелья, мир откликнется, одинок.
Нам, взывающим о прощенье,
что он скажет, в тиши пещерной осыпающийся песок?..

ОДНОКАШНИКУ В ТОРОНТО

К Ликомеру, на Скирос...

И. Б.

Устав от висок и портвейнов, надеждой молодость губя,
в толпе фейсбуковских герштейнов
я редко, но искал тебя.
И я не тот, и ты — хоть строен, шнуруя на ходу штиблет.
Великих строек мир просторен,
в шкафу состарился скелет.
Мы, как вино, смогли пролиться,
и возмудев, и похужав...
Как пела девочка Лариса в толпе вселенских окуджав!..
Библейские назаретяне
вокруг — их тьмы и тьмы и тьмы,
киргизские израильтяне, Я поменявшие на Мы.
Иное слово слух мой режет,
иные звёзды над судьбой,
но лики юные забрезжат — и дни помчатся вразной
над коридорами филфака,
что обещал нам хлеб и кров,
где ключ кастальский и клоака затравленных профессоров,
откуда мир казался целым,
как шар, в широтах, голубой,
изображённый серым мелом над неповинной головой...
Бог даст, в торонтовских окошках
ты обнаружишь чудный вид,
Фейсбушка всё ж на курьих ножках
нас — хоть солжёт — объединит
и, однокашники вселенной, как тени дантовских миров,
за жизни чёткой мгновенной
мы что-то вспомним...
Будь здоров!

ФРУНЗЕ,
ПРИВОКЗАЛЬНАЯ БАЛЛАДА

...подражанье мавзолею торт из серых плит
вспомню вздрогну пожалею вновь перрон закрыт
череда полей немая облаков узор
рельс эвклидова прямая искривлённый взор
чуждой страсти отблеск ртутный в мёрзлой глине клад
ржавый привкус бесприютный липкий мёртвый взгляд
общий лик вождей усатых всяк здесь Божий сын
лет изломанных остаток и осадок вин
грусть оскал далёких странствий мгла озноб глазам
серый данник дней бесстрастный фрунзенский Вокзал

...на нелепой хрупкой раме меж случайных звёзд
над железными путями эйфелевый мост
деревянный безутешный а с него видна
акварелью дымной нежной хмурая страна
тепловозов рокот сиплый маневровых плач
вместе с бабушкой и скрипкой маленький скрипач
он по мостику в очочках на урок спешит
словно в спящей ветке почка в нём смычок зашит
мост качается над бездной музыка слышна
от предчувствий бабки бедной горбится спина
неизбывного испуга древней крови стон
молча нарастает фуга на краю времён

...хмурые в погонах ели комариный звон
некто в кожаной шинели марс гражданских войн
ясен пташкам и букашкам пламенный alarm
на коне скалистом тяжком чёрный командарм
конь как боров злобный норов всадник крепко сшит
для дальнейших разговоров маузер молчит
в лоб обдолбанным европам зрит кромешный зверь
он стоял над перекопом он стоит теперь
коминтернам в час безлунный аз печаль повем
на главу падёт чугунный островерхий шлем
бзик реалий отблеск далее вещего огня

и чугунных гениталий тяжкого коня
на колхозников кишлачных молча смотрит конь
выдав для телег ишачьих в будущее бронь

...оглянись — чугунный всадник не рванётся вскачь
и дойдёт в свой детский садик маленький скрипач
друг и враг нам знака нету в бесприютной мгле
за шеломянем ты где-то русская земле
узкоглазый князь смеётся он душою чист
ведь когда-то содрогнется молдаванский лист*
и луна со дна колодца очи спрячет в тень
и хирург из полководца вырежет ремень
отольётся кровь победы дети прорастут
и заполнит все пробелы время страшный суд
звёзд далёких свет сигнальный поворот руля
отблеск северных сияний вечного кремля

а пока что тихо шепчет Богу — аз воздам —
дом бездомных отошедших
фрунзенский вокзал

* Фрунзе (молд.) – зелёный листок.

УРАЛЬСКИЙ РОМАНС

Чёрная смородина,
серый взгляд,
туч самолёты над жизнью летят,
люди в кирзе,
барак на восток,
Господь на Урале мотает срок,
синий наст,
ледяная лоза,
серые жалят под шалью глаза,
у тихих замёрзших прощальных уст
горькой грозди вяжущий вкус.

Красная смородина,
зелёный взор,
губы пахнут летом, эхом с гор,
тридцать лет долой,
и опять ты с ней —
на другом лице прежний свет ясней,
беспилотных птиц в небесах полно,
на сто тысяч жизней солнце одно,
тёплый дождь,
ломкая бровь,
алая гроздь, молодая кровь.

Мать и дочь,
опустелая даль,
огонь опаловый, чёрный хрусталь,
чёрны ягоды — в колодце луна,
красны ягоды — седая весна,
кисти разные — ветвь одна,
память праздная — день без дна,
кровь кержацкая,
волчий свет,
городок забытый,
на карте нет...

AVEC PLAISIR!..*

Баллада русского возрождения

Ты пришёл с царём Петром, ты вошёл в наш тихий дом,
Я в твои глаза, как в омут, заглянула —
В них навеки корабли в море синее ушли,
Только нежностью и ужасом дохнуло.
Ты вошёл в наш тихий дом — и с тех пор навек ты в нём,
Но ни дома я, ни имени не помню,
Только, в счастье и в слезах, несказанный свет в глазах
И обет, что, дав единожды, исполню.
Ты сказал: авек плезир! — и меня навек пленил
Шпагой, голосом, пшеничными усами,
Впереди качалась мгла — но, закрыв глаза, пошла
За тобою я, прельстившись голосами.
Ещё помню: ночь-полночь, что-то мне уснуть невмочь,
А на псарне в рёв заходятся собаки,
Входит, чёрен, мой отец: — Ты готова ль под венец? —
И глаза его — как две свечи во мраке.
Сам царь-батюшка венчал — и уж как нас привечал,
Ну а мы с тобой доверчиво сомлели,
Да и как тут не сомлеть, если нам клялись гореть
Свечи шальные на каждой ассамблее!
Голова царя Петра тяжела была с утра,
Но легка была российская корона,
И все чуяли нутром: с императором Петром
Супостата одолеем без урона!
Но рука царя Петра — сноровиста и хитра.
Его милости лишился отчего ты? —
Ягужинский-прокурор усмехнулся: — Вот он, вор!
А послать его в уральские заводы!
У меня не стало сил, когда люд заголосил:
С дыбы сдёрнули, в железо заковали.

Помню, в мёртвой тишине шевельнулся сын во мне.
Больше мы с тобой друг друга не видали.
Доползла я до царя, но молила, видно, зря:

* С радостью! (*франц.*)

Глянул сумрачно, скривился, отвернулся.
И тогда в недобрый час твой сынок в последний раз
В моём чреве безнадёжно содрогнулся.
И пошла я за тобой — но куда, любимый мой?! —
Обеспамятела, имя позабыла,
Мать, отца, наш дом и двор, нянек, братьев и сестёр
Мне заменит безымянная могила.
Всяк пред Богом сир и наг, сказывал один монах.
Старец этот рек: — Не плачь, жено, не надо!
Суженого не ищи — сгинул в огненной печи,
Но пребудет посрамленье силам ада.
Так и царь наш на заре с Божьей помощью помре,
Убиенного, зная, вспомнил Алексия,
На предчувствие моё налетело вороньё,
Над моею головой заголосило.
Славянин, хазарин, галл — каждому Господь воздал,
Но полна она антихристовой кровью,
Эта страшная страна — эта вечная война,
С её ненавистью, страхом и любовью.
Горю минуло семь лет, я состарилась, мой свет,
И с ума сошла от горя и утраты,
Шла я с нищенской сумой за тобой, любимый мой,
Но не встретила и самой малой правды.
Что ж, Господь тебя храни, гаснут дальние огни,
Очи выплакала — и пусты глазницы,
Канул разум мой во тьму, в ту безглазую тюрьму,
Где надежда не окликнет, не приснится.
Ты просил меня: живи! — но ты зря хрипел в крови,
Без тебя жить я обета не давала,
За младенцем нашим вслед мне покинуть этот свет
Богоматерь, зная, незримо помогала.
Ты прости меня, мой друг, что не вынесла я мук
И сойду теперь под землю за тобою,
Что сдержаться не смогла, что дитя не сберегла.
Видно, я удела лучшего не стою.
Но и в свой последний час помню только лишь о нас —
Нет ни матушки, ни батюшки, ни Бога,
Когда юность мне пронзил возглас твой: авек плезир! —
И последняя привиделась дорога...

РЕПОРТАЖ

Труп в кресле. Телевизор голосит. Бегут года. У двери глаз косит.
Старуха мёртвой хваткой чашку с кофе
пустую держит — и глядит в экран.
Функциональной скорбью обуян, навис над телом полицейский-профи.
Кого-то беспокоила? — о, нет,
взломали дверь — вокруг прошло пять лет,
закончились на счёте сбереженья,
банк вскрыл судьбу, но мумия гостей
проигнорировала без затей,
как бы сказав: остановись, мгновенье! —
естественно, остановился мир, ночной зефир струит ночной кефир,
но так, чтоб жажде быть неутолённой,
покуда нам небесная труба не возвестит последний день труда.
Из кресла ей, заметно утомлённой, уже не распрямиться и в земле,
чтоб встретить Бога в санитарной мгле —
так, словно сдать на будущность экзамен.
И ангел, удручён самим собой, миг помолчит над скрюченной судьбой
и выдохнет единственное:
— Амен...

СТЕПЕНЬ РОДСТВА

От блокады до блокады — облака да облака,
Нас история лукаво в современность облекла.

Будущее очищенье, века нежная трава? —
Боль и холод отчужденья стали степенью родства.

Стоило ли с ног валиться, хоть усталости не жаль? —
Позади боброк волынский, впереди — бабрак кармаль.

Наша вещая природа не почует в нас беды —
Ждали мы кола брюньона, но пришёл кола бельды.

Что же, если ты мужчина, боль прими и не сморгни,
Облик хана тэмучжина — лику дмитрия сродни.

Жизнь твоя не отмахнётся каламбуром: нищий — мот,
Днище каждого колодца — наизнанку небосвод.

Не судьба с судьбой лукавит, а мы сами лжём себе.
Всяк свою дыру буравит, всяк ответит на Суде.

Всё, что было, снова с нами, скажем — плоскость, выйдет — грань.
Хоть цвета меняет знамя, но пощупай — та же ткань.

Круг замкнувшийся греховен, скажем — профиль, выйдет — фас.
Боже, кто же тут виновен? Ну а кто же, кроме нас!

Человек меняет кожу, робко в форточку стучит:
— Боже, что ж я подытожу? Но вселенная — молчит.

МОЛИТВА НА МОГИЛЕ БОГОМАТЕРИ В СЕЛЬЧУКЕ

Всё, Мария, я сделал, как научили:
свечку зажёл и поставил — и попросил о прощенье,
встал на колени на коврик потёртый. Глаза остыли:
слёзы слотнул — без них всё равно плачевней.
Всё, Пречистая, сделал я, как подсказали:
руки омыл и лицо из Твоего колодца.
Правда, вода была воплощена в металле:
нажмёшь на кнопку — и благодать прольётся.
Не было мне знаменья, Богородица Пресвятая,
ничто не открылось душе, что было сокровенно.
Птаха в мандариновой роще что-то мне просвистала
на влажных Твоих серпантинах под колёсами ситроена.
Всё, Богоматерь, я сделал: и крестик купил у турка,
правда, к нему прибавил ятаган двуострый —
эфес у него эфесский, на таможне придётся туго,
но таможня и горняя сфера — родные сёстры.
Всё я сделал, Марьям-Ана, в этот вечер,
хадж свой, убогий духом, у могилы Твоей завершая,
и если на зов ответить мне больше нечем,
то, значит, дошёл и я до предела, до края.
Я всё это вижу — и спокоен при этом,
по фигу мне, что будет со мной и странюю.
Что ж так больно мне, будто Тебя я предал?
Холодно, грустно, стыдно — но не пред Тобой одною.
Матерям, чьи могилы разбросаны по вселенной,
трудней, чем их детям, чьи могилы они потеряли.
Турецко-греческий ветер, непримиримо солёный,
воплощается молча в ветхом мемориале,
но сирота всё ищет отца — и Отца обретает,
и ноша мира, взваленная на хрупкие плечи,
как эти масличные листья, не облетает,
вечнозелёная.
Но матерям — не легче.

В ЗАЩИТУ СВИДЕТЕЛЬСТВ

Эпохами отобедав,
этноты прут без цурюков
от пассионарности дедов
к транссексуальности внуков.

Немного, видно, рубруков
в толпе меж гуннов, венедов,
у очевидца кредо — в
том, чтоб сгинуть без звуков.

Полчища в ритме торжищ
сочтёшь, впотьмах подытожишь —
чужак, сирота, историк! —

ведь всё, что циник набрешет,
поправить мечтает стоик
до того, как зарежут.

НА СТАРЫХ РАСКОПКАХ

будто жалуясь тихо кому-то
голос юн а напевы стары
безутешная дочка комуза
фраза с воза осколок струны
безымянная речка бежала
камни скользко вприпрыжку с горы
абрамзона иль скажем бернштама
за спиною оставив шатры
чем ей быт археолога ветхий
не понравился коли и в нём
нижний мир человечней чем верхний
перечёркнутый льдом и огнём
правил в тихом еврейском кочевье
манускриптов берцовый уклад
пелись песни качались качели
и печали таились в углах
юрт с пяток будто роща грибная
потянулась в дожде к небесам
непонятное напоминая
ибо старый пророк написал
что кромешную землю покинув
проблуждают в созвездьях иных
сыновья кочевых бедуинов
иль кого-то ещё кочевых
из теснин ленинградских и прочих
ищут пламенный смысл поскорей
пионеры и дети рабочих
в украшеньях согдийских царей
ты в иных но не в этих цепочках
преисполненный груза наук
круглоокий и в круглых очочках
бедный ближневосторженный друг
был карниз над привычною бездной
наркотропкой в иные миры
жизнь прошла в хляби возленебесной
но не выйдя из местной дыры
роксоланы или андромахи

тѹ невнятных речений тая
языки что иссохли во прахе
вот заветная доля твоя
нервной руною камень изранен
Был
Летел
Побеждал
Умерщвлѣн
заблудившійся измаильтянин
альфа дней и омега племѣн
вот и грустен кочевник двуострый
книжной мудрости всей вопреки
в суете многоцветной и пѣстрой
прах стремлений надежд черепки
бедный идол посредник меж Богом
и его контингентом земным
голь пизанская в крене убогом
камень в землю и Небо за ним
ть от ветра цветок от кувшина
весь матрикул богатств и скорбей
смерть отца величание сына
те же повести гор и степей
где всеобщее солнце слепило
где молился грозе мотылѣк
где споткнулся амитин-шапиро
с сердцем сорванным шейман прилѣг
ронабрамыч уснул за роялем
спирт рояль мы хлебаем из чаш
коль единственен и познаваем
мир поскольку и божий и наш
юный варвар сочувственным взором
на библейское бегство смотрю
авраамовых чад с триколором
россыпь звѣзд и верблюжью зарю
вижу стяги усталого клана
и на них проступают слегка
кедр ливана берѣза ивана
череп сакского боевика
безоглядная речка сбежала

вся взалёб и от счастья слепа
в постановке эм что ли бежара
или эм как его петипа
вековое прогорклое зелье
в чёрных пальцах голодной вдовы
сладкий вкус проторившей ущелье
молодой удивлённой воды

ЗВЕЗДОПАД

жизни космической память
так далека в ДНК
божия пыль под стопами
хилый дневник двойника
как рассудить хромосомой
коль просфора нам пресна
молоха серп невесомый
тягостный молот христа
алчут безмозглые чада
в горькой хитиновой мгле
пастыря гиблого стада
молча мочить на земле
божья задумка где скрыты
инок икар пионер
слепоглухие термиты
грезят о музыке сфер
длится луна молодая
древнюю немочь тая
ищет во сне пропадая
пенициллин бытия
прошлому не помогайте
в небе кромешном как сон
плачет о нас Богоматерь
светит нам спутник-шпион

АРХЕОГРАФИКА

И. В. Стеблевой

1

Погост забыт.

Но мы, имевшие к рождению
бесправной радости касательство, стоим
у холмика земли под солнечною тенью,
где тесно одному и холодно двоим.
Подвалы мудрости, полны оглохшей пылью,
письмовники имён, божба календарей,
гербарии надежд, бесплодные усилья —
мекканец сумрачный и нервный назорей,
кашгарца долгий вздох, радения хайама,
плюс жертвенная кровь ржавеет на мечах,
взлелеянный чертёж разрушенного храма
и крылья ангелов, сожжённые в печах, —
вот, в принципе, и всё, что память заронила
в пустынях пламенных и виноградных снах,
что списком прозвучит в молчанье азраила,
вспоминанья сон,
неузнаванья знак...

2

Осточертевший круг.

Истлевшие однажды

напевы немоты — опять воскрешены,
опять погребены. Плоды лозы отжаты
и, старясь в погребях, не греют наши сны.
Чужое время молодеет с каждым веком,
сиятельный склероз стремительной весны
грозит дремотным чувствам и стеклянным венам.
У брошенных жилищ обрушились венцы.
Харизма древних ритмов, метры в мёртвом строе
извлечены из праха отшумевших строк.
Обугленный — дели: земное, неземное! —

к небесной выси не проросший черенок
не станет деревом. Изжить не приневолишь
свет, пепел, марево, осенний дым, погост...
Лишь меньше станет здесь одним — одним всего лишь! —
бездомным правнуком,
чтецом костей и звёзд.

АРЕСТ. КИРГИЗИЯ. 1952

караковые роковые гнут одинаковые выи
во тьме неначатой весны
стоят гнедые понятия подземной силой налитые
и делом ценным для страны
в глазах значительность и робость и длится молчаливый обыск
пока не кончен первый тур
анализа преступной страсти и дремлют аргамачи власти
хрустя овсом прокуратур
господь нейтрины и фотоны ниже пассаты и муссоны
ты шлѣшь нам бедным прямиком
и дознаватель с ураганом играет ласковым наганом
великорусским языком
взгляд упыря скользит по твари он прям как девочка на шаре
он чувствует себя в седле
для родины и государя в рубинах звѣзд очами шаря
несѣт свободу по земле

беглец в чеченской кукурузе за городом по кличке фрунзе
подследственный благая весть
как ты здесь ночью оказался себе и Богу не сознался
и плохо помнишь кто ты есть
над инеем с чертополохом рубаху в пику всем эпохам
очухаешься застегнёшь
став мертвецом и скоморохом беги навзрыд не время вздохам
утрись от крови это ложь
лишь не нашли бы и в подвале опять впотьмах не убивали
ты уже видел этот фарш
родимый брат тропинки узки а хор турецкого по-русски
прошепчет вслед турецкий марш
очнишь дорогою железной под панорамую прелестной
мазут и уголь и гудки
у века ушки на макушке кишка к кишке пешком до кушки
ночами небеса близки
тверской купец ничей подкидыш зубри верхненемецкий идиш
или пингвиновский лансмоль
авось найдѣтся атлантида тебя приныкает для вида
а дальше ты уж сам изволь

НОВОГОДНЯЯ ОДА КИТАЙСКОЙ ВОДКЕ СО ЗМЕЕЙ

в год Змеи мне в глаза заглянула Змея
стерва ведаю стёртая доля моя
но чтоб этак в глазищах кровавый пожар
трав и тварей морских многоцветный кошмар
в бесконечной улыбке разверстая пасть

не дрожи человек ведь власть — это страсть
и не пьйся в меня сквозь прозрачный сосуд
этот мир предсказания мои не спасут
чтоб не сдохнуть бездомной бишкекской зимой
пей горячий ханшин и закусывай мной
но не тычь в меня вилкой в ночи по дворам
моё тело придворным отдай поварам
ибо слух усладит бесконтактная ложь
лишь коснётся меня императорский нож
и споят обо мне поминальный кошок
коль пронзит мою девственность электрошок
рассекут мне сращенья пространств и времён
в терпкой яви не тронув нефритовый сон
безымянный кромешный божественный яд
в средостеньях младенцев своих заструят
чтобы те навсегда с терракотой в груди
встали вечной шеренгой во сне хуанди
позабуду сухое лобзанье песка
и с эпохой менее стану резка
если в жизнь мою как в бессловесную тень
волосатую лапу запустит женьшень

и очнусь я русалкой в глубинной воде
саламандрой на вздыбленной сковороде
и собой обозначив великий почин
хрустну песней в зубах краснозвёздных мужчин
чьи колонны продлят дикокаменный строй
чьи надежды умрут там где каждый — герой
выше круч из которых звенели ключи

до начала времён на земле Урумчи
сказки ханьского лёсса где ведомый нам
плыл Парторг Поднебесной по жёлтым волнам

ты ж поклонник своей кислоглазой лозы
пей змеиную кровь и зубри Лао-цзы

ФАКЕЛОНОСЦЫ

Язычествует молвь на косогоре
реки, несущей воды в никуда,
пока неопишное море
расхристанное топит города.
От копоти пространство почернело.
Чтоб неповадно было вдругорядь —
соборный свет гримасой печенег
накрыло и велело догорать.
И во главе подавленного гула
смерть голосит, что всем она сестра:
автофекальный томос истанбула,
канун перераспятия Христа.

На берегу три идола могли ведь
ещё надежду побережь в тепле,
слепые очи девственница Лыбедь
дарует зрячей сумрачной толпе,
и на устах, что вымазаны кровью —
чужой молитвы бессловесный рык:
в пути от православья к празднословью
отвергнут христианнейший язык.
Они идут, свергая храм за храмом
и капища надстраивая ввысь,
где их отцы под прапором багряным
всё предали, что защищать клялись.

Страшна дорога к храму и горбата
растоптанная толпами тропа.
Но тягостный бесплотный гром набата
с востока слышат в Лавре черепа,
он нарастает, встречный вал смертельный,
и, сам уже не властвуя собой,
в тела, как нож, вонзает крест нательный —
и демоны за ним идут гурьбой,
и Саркофаг пронизывает трепет,
и птицы молча рвутся в вышину,
и снова — и уже навеки! — Припячь
берёт в себя днепровскую волну.

ПРОЩАНИЕ В ТУРКМЕНИИ

Ночь, уходя, мне смотрит в спину...

Махмуд аль-Кашгари

Ушёл ты, сердар песков, чёрных, словно икра
остроулыбчивых рыб, чей запрещён отлов.
Закончилась игра. Беспмятные ветра
карты смели со столов наследников и послов.
Огуз-намэ, Шах-намэ оборачиваются послед
упавшей птице Рух: завершился круг —
испуганными словами весьма искусно воспет
кометы кровавый след. Хотя бы один был друг...
Шёлковые пути выбелили виски,
гул подземный на миг затих в незримом огне.
Где тот старый масон, видевший сквозь пески,
ведавший всё в веках на петербургском дне,
собравший под тюбетейку остатки надежд и волос? —
не вынес хитрый мудрец утраты божества.
Всё это твой уход: сколь многое прервалось,
безмолвьем отозвалось в миг скорби и торжества.

Под эхом согдийских звёзд с тобою погребена
эпоха твоей мечты, какую бы ни была:
в ногах у тебя лежит задушенная жена —
доверчивая страна, в её устах — удила.
Пали великие кони, сошли с атласных страниц,
в серебряных ошейниках, в начальниках из грёз,
властители погони, дороже библейских цариц:
удобрит барханы рая их царственный навоз.
Издохли пятнистые псы — хмурые пегие львы,
хранители серой мглы, искатели горькой воды,
поводыри овец, слушатели молвы:
и наши дети всё чаще видят волчьи следы.
Выцвели и рассыпались — не прячься, нетленный прах! —
орнаменты прежних вселенных, сакральные миры,
из чёрных рук мастериц расцветшие сквозь страх,
чудесные, беззащитные, бессмертные ковры.
Погас изумрудный город — пламенных окон нет,
враз загоравшихся, имя затверживавших мольбой,

где золотой человек и вечный солнечный свет
не расставались и ночью, заклятые тобой.

Живы еще, сердар, заказанные враги,
проплаченные либералы, надкушенные толмачи,
уподобившие себя Махтумкули Фраги,
между Исой и Пророком ползающие в ночи.
Уже не взломает хакер вкладов твоей мечты,
поскольку вместе с тобой ушла и мечта твоя,
а банковские счета ведаешь только ты:
ах, если б ты так же верно знал коды бытия...
Сердца не рвёт теней безглазая череда,
в руке телохранителя не вспыхнет оскал небес —
с вешних иранских холмов льнёт к тебе Фирюза,
льёт бирюзовых всплесков лживый женственный блеск.

И только одно осталось за гранью всех прочих смут —
землетрясения хрип, немота термитных ночей:
древняя смерть приходит в час, когда все уснут,
когда ни Бога, ни дьявола, и ты — один и ничей.
Отстраняется саксаул от поцелуев стрекоз,
в тысячелетней мгле тоскуют глазницы могил,
волосяной аркан сплетён из маминых кос,
вот и вернулся час, и ты его не забыл:
вновь, с безнадежной верой, на вздыбленной земле
хранит священный бык отрока на спине! —
но Ад улыбается молча, крышка дрожит на котле.
И дремлет город мёртвых — и вздрагивает во сне.

НА РАННИХ ПОЕЗДАХ

Какая ширь! Какой размах!..

Б. Пастернак. «На ранних поездах»

В вагоне, из тех самых, ранних,
что в путь нелёгкий собрались,
стоят —
глухонемой карманник и деревенский гармонист.
Стоят, не видя и не зная
один другого,
и для них
железных рельс река живая —
живой, спасительный родник.

Тиха украинская мова.
Скользя по мутному стеклу, упорный взгляд глухонемого
упёрт в глухонемую мглу.
Смыкая даль горизонталей в двухмерной плоскости стекла,
толпу неслышимых деталей размазывает молча мгла.
И длятся — дольше жизни целой —
на полустанке часовой,
винтовки взор оцепенелый над предрассветною травой,
улыбка трактора-фордзона,
дыханье чьё-то у лица,
настигшее в конце вагона отступника и беглеца.

Красивый, двадцатидвухлетний,
отец мой в тамбуре стоит
и эхо родины последней в себе, не ведая, таит.
И на ремне его двухрядка на стыках голос подаёт
как эхо высшего порядка —
и будит 33-й год.
С фальшивой справкой сельсовета и эхом выстрела в ушах
он промотал свои полсвета,
с эпохой соразмерив шаг.
Он полон юности целебной, что очень скоро пролетит,
он верует, что Город Хлебный его, изгоя, приютит,
и молча сжалится,

и скроет
в степи без края и конца,
в огнях периферийных строек
отступника и беглеца.

Чем громче оклик паровоза,
тем молчаливее вагон,
и дыма огненная роза чадит и стелется вдогон.
Молчит толпа.
В тужурке чёрной опять на станциях конвой,
он ходит, словно кот учёный
с тысячеглазой головой.

...О, только б не избыть сегодня
надежд безумье,
сумрак, страх,
кровь, грязь, бессилие Господне
на тех,
на ранних поездах...

УКРАИНА. ГНЕЗДО АИСТА

«Лелеко, лелеко! До осені далеко...»

Дмитро Білоус

«Аист, неба око! До осени далёко...»

Господи, опять никому не верим,
и Тебя не видим мы, Свете тихий,
аист ладит дом, ветер верен перьям,
ангелы беседуют с аистихой.

Снежная столица в печатном шаге
оглядит пространства с державным гневом:
должно Карфаген привести к присяге
прочим в назидание карфагенам.

Площадь с тюркским именем, с чёрным дымом,
матерь городов, что родства не имут:
зря, панове, съехались с Третьим Римом,
не в пример нежней европейский климат!

Хаммеры библейской толпой пасутся,
издали всем лыбится оклахома,
в боевых объятиях камасутры
пользует хохлацкого охламона.

Не более душой о чужих юропах,
ешь тушёнку родины, рашен воин:
полстраны отцов, век назад в холопах,
полстраны других — оплели конвоем.

Бесы точку тронули на экране —
упокоен боинг на звёздном танке,
побратайтесь, добрые громадяне,
лётчицы, наводчицы да вакханки!

Рвётся ярый огонь из несытой пасти,
загасить бы тостом — ан выпить не с кем:
с новым годом, родичи, с новым счастьем,
уж кого — с луганским, кого — с донецким.

Сыну мать прошепчет: дай, кровь завою,
ты простишь со мною, с судьбой обидной,
вознесись, безвинный мой, над землею —
красносинебелой, жовтоблакитной!

На доске разбросанные фигурки,
тронутые тленом слепые клетки,
родин двух растерянные придурки,
рано поседевшие малолетки.

Выжить ли птенцам на исходе гнева? —
брезжат в чащах боги, во тьме дубовой,
рушатся снежинки с немого неба
местной бессловесной всеобщей мовой.

...Чьи провидим кости в песках пустыней,
чей раскол в масонах, инцест в державах? —
в прошлом настоящее упустили
на волнах безродных, на рельсах ржавых.

...О каком грядущем своём восплачем? —
счёт проплачен, только чужой аортой,
карфаген у каждого здесь утрачен,
или рим — какой уж? никак четвёртый?

Сердце опустело — чья ж это кража? —
воровская висельная арена —
ты ли, обеспамятевшая Раша,
или ты, обдолбанная Юкрейна?

Всех нас, что друг друга в песок стирали,
ах, как беззастенчиво отымели! —
где всё то, что запросто растеряли,
птицы наши, гнёзда и колыбели?

Кто мы, мёртвых пажитей аборигены? —
нежить и предательство пахнут псиной,
где же наши римы и карфагены?
Все — иуды,
все встанем перед осиною.

ПОЛНОЧНОЕ

...в полнеба? да какие тут полнеба! —
одна бравада
летишь и радуешься: ты — планета
Звезды Барнарда

коль в карусели той не поквитались
так уж не сетуй
ни разу — мёртвые — не повидались
звезда с планетой

в руках давно исчахнувшего света
тьма изнывает
планета знает, что она — планета
звезда — не знает

не зря бессонный телескоп смыкает
слепые очи
планета безымянная стекает
слезою ночи

...звезда моя двоюродная мама
вглядись так что же —
фантом приبلудный ёжик из тумана
вдруг мы похожи

верни забытым языку и зренью
восторг и пламя
Сверхновая — я твоему горенью
мешать не вправе

а нет так отвернись чужая сроду:
лети мол с миром
ползком по галактическому своду
хоть к чёрным дырам!

ТОЛСТОЖУРНАЛЬНОЕ

Чем не роман!.. Однако ж не роман:
«Вот жизнь моя...» Чем в толчее беззвучной
не эпопея суеты фейсбучной,
беспамятства застёгнутый карман...

Чем не судьба! Кто ж спорит — да, судьба:
архивов тлен, гербарии империй
плюс дактилоскопия суеверий,
что редко доживают до Суда.

И чем не зоркой зрелости года
и скрытой грустью полные страницы —
не отстраниться, не посторониться.
И чем это не знание навсегда —

что мы затем, быть может, не умрём,
что все-таки умрём — и, видно, скоро.
Былого спора доблестная свора
подстережёт и там нас — за углом,

творцы и их подельники, вчерне
усопшие — они придут за нами,
чтобы однажды чьими-то словами
признать:
нас было много на челне...

* * *

Я гимны прежние пою...

А. П.

Нас было много на челне
со знаком пепла на челе —
и, подчинясь каким-то рунам,
мы за каким-то, блин, руном
гребли куда-то там с трудом...
Но что поделывать: мир был юным.

Нас было много на челне,
когда заплакал в тишине,
в хлеву — малыш, дитя мигрантов,
и Вифлеемская звезда
покрыла светом навсегда
мечты пигмеев и гигантов.

Нас было много на челне.
И жизнь мы прожили вчерне,
и все зарыты в чернозёме —
за родину ли, за царя,
за первого секретаря,
за то, чтоб мыши жили в доме.

Нас было много на челне,
когда в Афгане и Чечне
кричала в нас пригоршня праха,
и луч по танковой броне
скользил — и в вышней глубине
мы шёпот слышали аллаха.

Нас было много на челне —
в который век? в какой стране?
О, по какой мы шли трясине
и не запомнили святынь:
звезда Польша, земля Аминь,
но веры нету и в помине.

В дерьме, в огне, в родной стране,
но с Божьим словом наравне
в аду, в раю, идя по краю
и повторяя «Мать твою!...»,
я гимны прежние пою
и родину не укоряю.

Нас было много на челне...

ЗЕРКАЛО

Так и не отгремела, через все времена,
в зеркале архимеда пламенная война:

век твой, твоя работа, скрытый в песках закон —
в зеркале геродота полчища языков,

век твой, слепой охранник, неуловимый вздох
в чёрном огне органик, ставших песком эпох,

в смутной заре Корана, в вещем сплетенье снов,
в рыжих слоях кумрана — овеществленье слов,

прежде всех назореев — чуждого мира мгла,
жадный всхлип мавзолеев, злобные купола,

это твоя крамола, сретенье, гнев и страсть,
это твоя каморка — свод мировых пространств,

это твоя кручина, привкус чужой травы,
капелька сарацина в чёрной твоей крови,

это ведь твоя карма, край твой, судьбы кремень,
ночь разрушенья храма, утро и судный день,

твоя мольба о здравии, странствий твоих знойд-вест,
русского православья старый двуперстный крест,

камень в конце тропинки, тризны умолкший звук —
малой земной кровинки, выскользнувшей из рук,

вкус просфоры слоёной, мизерный твой итог —
капля волны солёной, пены морской виток...

ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН

Ино, братие рустии християня,
кто хошет пойти в Ындейскую землю,
и ты остави веру свою на Руси...

Афанасий Никитин



ЖИЗНЕОПИСАНИЕ

детство
огромное одиночество
в маленьком городке
лиц переключки и клички без отчества
в памяти накоротке
песни казачьи язычество ёрничество
девичий смех вдалеке
творчества золотое затворничество
утро
синица в руке
юное непобедимое зодчество
будущим хищным обглодано дочиста
слово предлог и глагол и наречие
ликованье воды в арыке
гор безначальное надчеловечие
на неземном языке
отрочество
то бишь первопроходчество
иго несбыточного пророчества
след на песке

* * *

Ночь августа.
В примолкнувшие травы,
прочёркивая чёрный небосвод,
монеткой брошенная для забавы,
звезда неназванная упадёт —
нечаянная чья-то там утрата,
осколок взора, уголек в росе,
бездомная, последний вздох заката.
Ей в унисон в серебряном овсе
вдруг перепёлка прокричит спросонья.
И — далеко видны, освещены
пожарищем всплывающей луны,
прекрасные
начнут свой танец
кони...

ETNOGRAPHICA

Дотлеваает в плошке керосин.
Чей залив закатом обрамлён —
Николай Михалыч Карамзин иль Саул Матвеич Абрамзон?..
К сходству, жизнь, легко не торопи, но и задержаться не могли
у славянско-аглицкой степи,
у киргиз-кайсацкия тайги.
Наважденье, что на берегу бег лавины гиблой укрощён,
что Семёнов племенем Бугу взят да и Тянь-Шанским окрещён.
Наважденье, что чужой язык примет голос твой в чужих ночах:
конь к чужому строю не привык,
не согреет нас чужой очаг.

Правда то, что властный комиссар прорычит по тройке корешам —
и рыгнет в приёмной есаул: — Возвращайся в свой аул, Саул!

Каждый здесь утратил, что обрёл.
Гаснет разгорающийся свет —
и чугунный рушится орёл, треплющий оливковую ветвь.
Николай Михалыч,
гражданин,
то ль Пржевальский,
то ли Карамзин,
поддержи беззубого орла!..
Нет!
Уже надежда умерла.

Ваши позабудут имена
и стяхнут наитье племена,
предаваясь вековой мечте в радостно-прекрасной барымте.*
Что же толку было — годом год поверять, чужую грязь месить? —
незачем вращать в чужой народ,
двух стволов, Мичурин, не срывать!
Катит на наместника народ, тянет на Мазепу — Кочубей.

* Набег с угоном скота (*кирг.*).

Что ты рвёшься к скифам, Геродот! —
дома те же скифы, хоть убей.
Меркнет юрта, врезанная в склон, прозреваем ложь своей любви.
Позже это объяснит Леви-
Стросс. Но то совсем иной резон,
ибо двуязычные слова, дар очередному палачу,
прячут — русско-аглицкая Чу
и киргиз-кайсацкая Нева...

КИРГИЗСКАЯ ОХОТА

Срубленная, пала в разнотравье
Солнца золотая голова.
Сворой разномастно затравлен,
Волк искал последние слова —
Те ли, что вначале были Словом,
Или что-то, может быть, ещё? —
В мутном мареве солончаковом
Смерть дышала в спину горячо.
Кони от плетей осатанели,
В их глазах был красный волчий свет,
И на склонах отшатнулись ели,
Ибо смерти не было и нет.
Каменный обрыв — конец ущелья,
Каменный мешок сухой реки:
На чужом пиру творись, похмелье
Боя — боли, жизни и тоски.
Серой грудью пав на серый вереск
В миг, когда живому всё равно,
На закат малиновый ощерясь,
Зверь дышал протяжно и темно.
И камча, что лошадь кровянила,
Шевельнулась, подавая знак,
И тотчас же в сторону аила
Поскакали известить зевак.
Спешились и двинулись неспешно,
Ибо злобе в мире места нет:
Всё, что совершается — безгрешно,
Лишь в глазах — тот красный волчий свет.
Равнодушен перед псовой ратью,
С пьяным ветром сглатывая кровь,
Волк молчал —
И смертный свет во взгляде
Был уже бесплотен, как любовь.
Ночь сквозила сумеречной тучей,
Скоро обещая холода.
Плакал, бился родничок в падучей,
Первая прорезалась звезда.

Жизнь кончалась, серая и злая,
Знающая, что она — права.
И тяжёлой кровью, догорая,
Пропиталась жёсткая трава.
...Для того ль моя — бурлит по жилам,
Чтобы в горле вспоротом моём
Где-то, за каким-нибудь аилом
Плач и песня хлынули огнём?!.
Время и любить, и ненавидеть,
Умереть, когда тебя казнят.
Мне бы только их глаза увидеть —
Красный свет, малиновый закат.

У ПАМЯТНИКА СЕМЁНОВУ-ТЯНЬ-ШАНСКОМУ

Рыжий Лось и Олень золотистый
от века стоят на рассветных холмах,
ноздри вздрагивают — в них вползает заря
дикокаменной эры.
И за дымкой ущелий,
возлежа на своих пестротканых полях,
в смуглом золоте зноя Хива
протянула к ним нежную лапу пантеры.
Виноградный Коканд стал игрушкой в руке кочевой —
беки режутся лихо, усмешка в прищуре манапов.
Но и принц, и дехканин —
одинаково нищи над горной рекой:
жизнь прошла,
и ложится соха на траву, и скипетр падает на пол.

— Отрешимся от русских! — надсадно кричит Калыгул.
Что ж, будь им, я бы те же слова, словно соль,
сыпал светлым ущельям в разверстую рану.
Пусть сдерут с меня кожу,
я так же кричал бы в лицо Ормон-хану!..
Но хозяин тотема прищурился жёстко —
и мира я не всколыхнул.

Это — правда твоя:
что с того, что, поэт Калыгул,
ты проспори́л тогда? —
все ошибки политика в прошлых и прочих эпохах —
прозренья поэта.
Ах, кому это нужно...
Кремнистых столетий шальная вода
истощит ледники, всё нам скажет поэт,
но последняя песня — не спета.

Скачут всадники редкой цепочкой.
Посольство?..
В дремоте — манап,

в средоточии юрт — средоточье родов,
и для племени — времени бег не имеет значенья.
Спрыгнул с лошади стройный поручик Семёнов —
он духом не слаб,
он ещё наречётся Тянь-Шанским, сенатором станет,
но это не вспомнят кочевья.
Бесконечная Азия счёт своим дням не ведёт,
век не движется, ибо бессмысленно это движенье.
Всё вернется на прежние тропы.
Мироздания невидимый ход,
кочевая звезда — кочевого костра отраженье.

Кто постиг бормотанье весенних ручьёв
и свободы осмысленный свет?
Кто дробящий напев табунов
проводил под струны перебор затуманенным взглядом?..
Вы ошиблись, правитель родов и сановный поэт!
Ну и что? — где ошибка, где истина...
Нет её, да и не надо.

Это время гремит, низвергаясь, но нет перемен,
ибо все неизменно —
плач ягнёнка, призыв жеребца и смех молодухи.
Молчаливый старик оглядит, не привставши с колен,
весь свой мир —
и увидит забытые руны, затекшие руны.
Что — союз государств?
Мимолётных влечений игра
в древней пляске за власть — лишь младенчество краткого ига.
О, певец Калыгул, пусть подули иные ветра,
всё — солжёт,
не солжёт лишь надежды изустная книга.
А она говорит, что деяний людских не поймёт
и не примет природа:
спокойно осенний ковыль догорает,
если русский придёт, то его неизбежен исход —
минет год или тысячелетье,
ибо Время — никогда ничего не теряет.

Для чего, Колпаковский,
ты склоны над Верным лесами одел?
Для чего, сын султана Чокан,
степь живую ты с книжной сравнил Илиадой?
Есть предел — все мы вместе ошиблись,
и наша мечта — не у дел:
лес посаженный вырос и высох — и вновь зашумел.

Твой бессмысленный ветер, свобода,
над могильной оградой звучит
надмогильной наградой...

ЦИРК «МОЛОДАЯ КИРГИЗИЯ», 60-е ГОДЫ

Александр Баршаю

В довоенном цирке деревянном, где легко сбываются мечты,
пели «а я еду за туманом» — и цвели бумажные цветы.
Партия с правительством решили вырастить лозу на пустыре,
у социализма на вершине, на чумном заброшенном дворе.
Господи, откуда знать тогда нам, как легко стирают в пыль года
всё, за что платили чистоганом тот, что молод, та, что молода!
Если и не знали, что ж такого — жаль, бессонны времени труды.
Чёрный конь Никиты Кочакова!.. Новака летящие пуды!..
В золоте и газе мавританки! Дромадеров тягостная прыть!
А по клеткам дышат минотавры, и нельзя вчерашнее забыть.
Вот я — стихоплёт-девятиклассник,
высшим смыслом крепок, сердцем чист,
то ль подгузник, то ль уже подрясник,
рок-н-ролл сбивается на твист,
кучка слабонервных идеалов плюс коктейль конюшни с кабаком,
круговерть икаров и дедалов, пахнущих вином и табаком,
запах травоядных и опилок, маленького сердца грозный стук,
циркового купола обмылок, выси галактический тюндюк*,
ощущенье силы и простора посреди советской голытьбы,
и на постаменте командора — статный стан министра Куллойпы.
Я дружу с поэтами, весёлый, никогда я не был — где Босфор?..
Объявляют в цирковую школу юных конных варваров набор.
Полстолетья из щелей задуло — скудости простительная грусть.
Время вас одело и обуло. В общем-то — обуло... Да и пусть.
Из минкульта сытые холопы строго бдят, куда растёт лоза:
нежный профиль мальчика Телёпы, лошади кровавые глаза,
вздых листвы — и небесами мая зачарован мир на полчаса,
вспухнет под камчою кыз-куумая** алая на теле полоса,
замирает Чуйская долина, но полвека длится этот сон —
юные взлетают лебедино и трепещет музыка «Чолпон»!..

* В киргизской юрте дымоход, решетчатое отверстие, открытое к звездам и общению с небесным божеством; изображено на флаге страны.

** *Камча* — плеть всадника. *Кыз-куумай* («Догони девушку!») — киргизская конная игра.

Небо их под куполом манило, жаждой славы мучило и жгло тех, кого вскормило и — споило это золотое ремесло.

Как они случайны и мгновенны — жизни человеческие! — тьма, мальчики и девочки арены, юная Киргизия сама...

Что потом случилось с ними всеми — о, куда арены алый круг распрямило и швырнуло время, и поводья вырвало из рук?

Как, не слыша праведного гула в чёрной запредельной высоте, в мастерской художника Джамбула, на его умолкнувшем холсте, юной, распластавшись на мольберте, умирала в синей тишине та, что стала прахом раньше смерти

и спилась в затерянной стране.

Сумрачным районным декадансом рысь твоих коней оборвалась, время поглумилось над пространством,

выпросталась тройственная связь,

где под звёздной чёрною рекою, тайной плоти распалив сердца, клоунесса тонкою рукою обнимает сына и отца,

старятся юнцы, гниёт эпоха, зло идет по курсу за добро —

профиль молодого скомороха, фас у фаллоса политбюро...

Журналист состарится, уедет навсегда, на вечную войну,

где земное солнце долго светит, в ближнюю восточную страну,

бедный, там трясущиеся пейсы гладит, не спросив у стариков,

с Македонцем доходили ль персы до его синайских берегов.

Помнит ли о юности в Союзе, улицей Дзержинкою рожден, выставив короткорылый «Узи», как правозащитный микрофон?..

А в ответ, вся в небесах Шагала, на метле, прекрасная, летит

цирковая юная шалава, вечности оживший трансвестит!..

Не сорвись, любимая, с небесной скользкой и нечистой высоты,

жизнь тебе дарована над бездной — если это ты. Но вдруг — не ты?

Вслед нам строгий Пётр и кроткий Павел смотрят, с губ срывается:

— Почто,

Господи, почто ты нас оставил?!..

Но безмолвен купол шапито.

ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН

Реквием русскому паломничеству в Киргизию

*Атанды олтургондо — эненди бер!...**

1

Путь из Верного через перевал Кегень: надежда

Господи благослови
алеет восток смуглеет восторг далёко где-то исток
кипящий поток надежды глоток детей на бричке с пяток
чуждого неба яростный день облака лоскуток
крутой Кегень обрывов кремь жри с голодухи ремень
чуждого дела горький итог империи дымный чертог
гляди-ка первый осенний листок сказано не солги
слова надежды веры любви не спрашивая лови
порастеряли гнёзда свои курские соловьи
Господи благослови

не тронешь Воронеж чёрной земли — а на чужой замри
повыпили кони ночные ручьи Россия реки твои
близка высота Каракол-ата напхни про новый день
у колкой зари нам дверь отвори мановеньем Чёрной Руки
сердца на весу над речкой Ак-Суу — над маревом Белой Реки
казачий пост отчий погост рукою достать до звезд
заплачет душа иди не дыша вот хрупкий небесный мост
бездомный с Боома ветер-улан воздастся каждому по делам
как в сказке течёт по горам и долам в зелёной мгле Джергалан
зеленоволные очи земли с небом напополам
цветок до озера доплыви
Господи благослови

если она отовсюду видна и всем нам на все времена
земля и пашня и тишина дарована ль суждена
но вырастут дети и вот она мировая война

* «Убийце твоего отца отдай мать!» [Здесь: Не помни зла] (кирг. посл.).

хоть звёзды во мгле и мир на земле и мягкий свет на челе
юродивый навеселе
кто знает когда их вышвырнут вон восплачет вечерний звон
отринутых слов забубенных голов сброшенных колоколов
всеведущим злом запроданных слов затерянных душ улов
оставь где родился надежды свои
Господи благослови

2

Путь через Боомское ущелье: предчувствие

шли наобум да вышел облом встретил в тучах Боом
бом-м
о милых днях в краю родном в холодный гранит горячим лбом
в закатной дали забыв о былом новый мир за углом
как опостылел путь-костолом сядем за общим столом
монетка упала двуглавым орлом у Боомской щели
бом-м

за возом воз русский обоз вечный русский вопрос
дым кочевий ветер донёс далёкий залаял пёс
снилось сбывлось и привелось услышать голос гроз
узнали землю но путь непрост где-то у самых звёзд
не от ямщицких ли враньих стай глохли Байкал и Валдай
не рыдай мене матери душой не блуждай о сыне зря не страдай
коней распрягая молча гадай где встанет ям Бурулдай
если добро схлестнётся со злом в этой полынной пыли
бом-м

плач тетивы шёпот листвы солнцем согретой травы
видели б вы как дрожат волхвы от немереной синевы
те кто живы были тогда а нынче давно мертвы
могли не упасть и выжить могли да только упали как шли
лыко в строке всадник в пике салам алейкум байке
вверх по реке что налегке камень крошит в кулаке
вот она даль в белом платке распахнутая вдалеке
отмаливай прошлое той земли о будущем не моли
море величиной с небосклон волн грозовой озон

О-ОМИН

джигиты в седло вам повезло неверное выжечь зло
пока в окопы оно уползло пока перевалы не замело
наш грозен ураан наш предок Шабдан так нам велит Кор'ан
О-ОМИН

рыбачье сельцо ветер в лицо песок секущий висок
и только запад смотрит висок и прячет зрочки восток
дети молча глядят из-за спин хмель укрывает тын
от смерти бегут от синих теснин
на север на запад и в Чу и в Кемин кони храпят
О-ОМИН

с незримых низин и горних высот изгой гражданских невзгод
где взор имперский всего веселей
среди елей парада аллея
парад-аллея поворот предчувствие не соврёт
в терновом венце параллелей пролей чашу но не хмелей
незванный грядёт Шестнадцатый год недоеный плачет скот
и мы бежим беззащитны вдвойне мужья и отцы на войне
русские матери и детвора а вслед летит лавина с бугра
в далёкой стране в чужой стороне нас Господи не отринь
аминь

ай да верзила Захар Буханцов
из хохлов ли донцов беглых петровских стрельцов
брешут ударом кулака ты джигита убил батрака
и был ли батрак и бил ли кулак неважно коль нужен враг
покуда Россия на дальних фронтах покуда мутна река
придумать врага вот вся недолга задача милорд легка
вливается ложь в твои берега святая озёрная синь
аминь

у Буханцовых глаза остры ещё побежит эмир Бухары
лишь кони быстры спасут до поры до ближней афганской норы
от этой игры пылают костры и нынче трясет миры
и мчится над мглою горных теснин
казачья лава небесная стынь
аминь

с фронта придут бросив редут на полстраны пластуны
горек труд да характер крут усадьбы разорены
но развернётся казачий гурт и запылают решётки юрт
записанный турком сановный курд спрячет глаза ата уurt
аилы опомнятся побегут но не скроет ночь беглецов
ах что же творится Захар Буханцов нет под дугой бубенцов
рука не поднимется тяжек грех
на этих соседей всех
лихих удальцов узкоглазых мальцов обманутых беглецов
нет Бога в душе у этих и тех кровавая мгла утех
кровью и гарью пахнет полынь
аминь

кочёвок плачущих пёстрый вал киргиз мол всегда кочевал
огонь не выветрился из жил в Кашгаре цветет инжир
но ураганом накрыт перевал и каждый беглец загоревал
лишённым сил у детских могил ветер сны навевал
о-омин

встретил киргизов простор чужой полон морозной мглой
как злобный нар их грыз Кашгар наносил за ударом удар
улыбчиво хмур прибрал уйгур богатство киргизских отар
сквозь свет и мрак разил калмак старое вспомнил враг
ничто не забыто никто не забыт и руны древних обид
молча истлели в чужих снегах на чужих берегах
не русской рукой но злобой чужой надежды развеяны в прах
не дланью людской но лютой пургой убит тот кто убит

о-омин
киргиз ты не видел лица у отца но коль ты отеческий сын
в огне перемен стряхни этот тлен помнишь ведь Семь Колен
нет у народа мудреца остался народ один
надолго срублены тополя устала бедная эта земля
будут ли хлебом полны поля оцепеневших долин
лондонский сплин да хищный берлин
выйдет вам русский блин
о-омин

друг друга кликнули на чаёк
киргизской кровушки ручеёк да русской кровушки ручеёк
встретились молча два ручейка вот река и горька

и длится побег под скрип телег
в двадцать
первый
век

РУССКАЯ ТРОЯ

*Покровка: Храм Покрова Божией Матери, в 1916 г. церковь сожжена...
Семеновка: Храм Архистратига Михаила, сожжён... Михайловское, Молитвенный дом Архангела Михаила, сожжён... Сухомлиновское, Отрадное, Богатырское, Иваницкое, Светлая Поляна, Тархан, Барскаунское, Раздольное, Соколовское, Гоголевка, Кольцовка, Арасанское, Столыпино...
Храмы сожжены в 1916 году.*

Гора ушла вершиной в высь туманную.
Стоит луна над Светлою Поляною —
и деревенька девичьи нежна.
Услышь:
Долинка, Липенка, Отрадное,
Орлиновка, Раздольное, Прохладное —
давали деды сёлам имена.

О, путники, дошедшие из Верного
ценой долготерпенья беспримерного,
оставившие родину свою
на Курщине, Орловщине, Полтавщине
и горный воздух над сохой глотавшие,
зачем осели вы в чужом краю?

Сёл имена, что строились не наскоро —
звучат они разборчиво и ласково,
единый свет Евангеля славянского, —
припомни-ка, пустив коня рысцей,
луга, где летним мёдом пахло сено, с кем
дышал рассветом Ново-Вознесенским,
разбойною Покровскою росой.

Здесь с южной мовой — молвь сливалась северная,
восточных солнц в очах огонь просеивая.
Народ с народом — бережно сходясь,
здесь русский знал киргизское наречие.
Союз людских племён очеловечивая,

над колокольнями, сердца просвечивая,
вилась крестов возвышенная вязь.

...Всё умирает,
прошлым становясь.
Пустеют шляхи, некогда стоустые.
О, Азия! — пустеют села русские,
основанные предками давно.
Затягивает мглою безразличия
лучину христианского обычая
и вянет песен горькое вино.
И церковки понурились — недужные,
уже и русской юности не нужные.
Утратами дорога поросла —
не то былём, не то травую сорною,
и как прийти сюда тропюю горною!..

Была ли ты
иль вовсе не была,
развеянная жёстким веком наскоро
большой России малая «диаспора»?
Полынью лунный свет припорошив,
проходят дни — и высыхают пастбища.
И — чьи они? — распахивает кладбища
бездомный ветер
под чужой мотив.

СМЕРТЬ СКАЗИТЕЛЯ САЯКБАЯ

Фрагмент фрески «Великий поход Манаса»

*...Устал я плакать и петь, ликовать и скорбеть,
печали серая соль, радости звонкая медь
иссушили душу мою, старую, как песок,
но небосвод надо мной — властителен и высок.*

«Э-эй!..

Вот он, жадный пожар, мой несправедный бой,
толпы людские смерть, смеясь, ведёт за собой,
кони хрипят, и трубы поют, и молчит рассвет
посередине мира, которому имени нет.
Разгорается день, от боли корчится мир,
качается на ветвях вечное небо Тенир,
мчатся во все концы измученные гонцы,
уставшие храбрецы, израненные бойцы,
восход уходит в закат, кончается Чон Казат —
потомкам тысячу лет оглядываться назад,
чтоб новый мир не заснул, надежды не обманул,
в ущельях каменный гул — кончается Чон Чабуул,
на сердце моё легла старого мира мгла,
эта старая боль — новых утрат игла:
оскальзываясь, идти по тягостному пути,
сквозь будущие века, где всё сгорело дотла...»

«Э-эй,

Кончатся силы твои! — ты дал Манасу обет,
воин чужой земли, символ бед и побед,
чьё имя чужое запомнят как Алмамбет,
скоро погибнешь и ты, заблудший китайский сын,
отточенный мезью меч, былых дворцов мандарин,
спрятавшийся среди чужих вековых теснин,
бравший родной пекин, вынырнув из-за спин, —
твой спотыкается конь, чует скорый конец,
твой обрывается путь, незванный предатель-храбрец,
не отсидеться тебе в нашем лихом далеке,
белые, чёрные камни джинны катают в реке,
даль задышается, браслет горит на руке,

в красное небо с тоской вглядывается Аруке...»

«Э-эй!

Сын мой, что с тобой сотворил пришлый манчжурский пёс,
чужекровный Конур, дьявол его принёс! —
не будет каменных рун — в степи моей не возрос
строитель каменных гнёзд, упрямый каменотёс,
в узоры кошока я сложу мириады звёзд,
злая роса опять горит на туманных холмах,
прячет стрелы свои отравленные калмак,
плачет уставший конь по имени Ак-Кула,
чья-то звезда горит там же, где и была,
трава потомков — тростник — словно в последний раз,
вспомнит бойцов простых — тысячелетних нас,
века пребудет с тобой вселенское имя Манас,
нездешнее имя Манас, небесное имя Манас,
стозевное имя Манас, подземное имя Манас,
твёрдое имя Манас, гордое имя Манас,
пламя из гневных глаз, свет, что скоро угас,
мечты, прямые, как сталь, в груди так странно тая:
смятенная карма твоя, смертельная рана твоя!..
Долго домой везти им от Бейджина тебя —
рассеется на пути, забудет дружина тебя.
Скудный чужой трофей упрятавши в торока,
кто остаётся с тобой из этих твоих Сорока,
в невыносимый миг предвидений и скорбей
кто посмеет взглянуть прямо в глаза Каныкей? —
выжженные джайлоо, глины бесплодный пласт,
беспамятство тяжело, дружина тебя предаст,
цена измены близка, как свист стрелы у виска,
и если не здесь, не сейчас — то завтра долги отдаст
закон кочевых путей, где в спину умело бьют:
чем больше обожествят — тем радостней предают.
Родичи промолчат, встанут враги у ног,
тысячу лет назад испустишь ты дух, сынок,
останется верна возлюбленная жена
да молча вздохнёт одна загубленная страна.
Не раз мы вспомним тебя, с гибелью не в ладах,
на долгом железном веку, в далёких, чужих годах...»

*...В чужой пограничный поток ветви роняет ветла.
Воин, не падай с седла, даль чужая светла! —
ночная птица кричит. Земля чужая мягка.
Дорога на бой легка, да вот домой — далека.
Каменный витязь лежит у ног старика.
Окаменела рвущая камни река.
Плачет старик.
Землю грызет кирка.*

БЕЗЫМЯННОЕ ИМЯ

Рисункам Джамбула

Мой безымянный,
для меня луна пролилась
под купол восьмистворчатой юрты,
растворила на моём лице покрывало.

Я слышу полнолуныя тысячетный шёпот
и древние плачи сестёр.

В небе олени ведут любовную пляску,
звёзды горят, как волчьи очи,
кровавоглазый жеребец
табун свой прячет в ночи.

И ты, любимый, прижался ухом к земле,
но что суждено нам услышать
с тобою
в этом неразгаданном,
в этом безымянном
мире?..

Ты приходишь, неведомый суженый мой,
с первым чёрным лучом заката,
когда сгущается кровь ожидания,
когда стучит в висках пустота,
когда плачут,
разрезая воздух,
крылья безымянных птиц.

Как зовут тебя?
Неужели тебе даровано Имя?
Неужели у всего этого мира есть Имя?

Кто же я
на закате безымянного дня?..

Дай мне услышать в глубине твоей мощи
удары ровного сердца!

Реки замерли,
птицы, горные козы и капли дождя
в пространстве недвижимом повисли,
тяжко вздрогнули ледники:
это я узнала твоё Имя,
но назвать его мне не по силам,
пока чувствую солоноватый привкус
безымянного
неба...

ГОРНАЯ ВЕДЬМА

Wer reitet so spaet durch Nacht und Wind?
Das ist der Vater mit seinem Kind...

J. W. von Goethe. "Erkoenig"

Кто скачет, кто мчится под холодной мглой?
Седок запоздалый, с ним сын...

Гете «Лесной царь», пер. Жуковского

...Кто скачет ущельем в ночной аил, сына кто на груди укрывает? —
сердечко вздрагивает у мальчика возле большого сердца отца,
висит багровой луны автостоп, дробится тьма у кремнистых троп,
хлещет коня молодой чабан, горит и бредит его мальчуган.

— *Атам, посмотри, как сквозь кусты сверкают мне глаза албасты!..*

— Нет, то не ведьмино око, балам, то речка с луною напололам!

— *Но мамину песню она поёт, ехать в долину нам не даёт!*

— То голос реки отражает скала, а мама наша давно умерла.

— *Ах, папа, на склоне горит костёр, там вижу я братьев и сестёр,
мои одноклассники, к ряду ряд — так звёзды падают и горят!..*

— Сынок, успокойся, это роса, испуганных птиц ночных голоса,
прижмись, храбрец, теснее ко мне — быстрее поскачем при луне.

— *Отец мой, мраком обожжена, за нами тянется тишина,
имя мое называет она, скользит ногой в твои стремена,
неслышно касанье её руки, холодные слезы её легки,
щёчки бледные у неё, когти медные у неё!..*

...Конь так не скакал и от стаи волков!

Искры рвутся из-под подков!

Село вырастает в серой пыли!..

...Больницу — в город перевели.*

* Аил – село; «чабан» – пастух; «атам!» – «папа!»; албасты – злой дух гор;
«балам!» – «дитя моё!» (кирг.)

ПОКРОВИТЕЛЬ СТАД

Вот селение посреди небес
в хоре тёмных звёзд и слепых чудес —
мир теряет слух, одиноки простор,
термоядерный в небесах костёр,
а вокруг стада и морская гладь,
и века вокруг, ни вперёд, ни вспять:
мир Чолпон-Ата — не на русский лад
имя дал земле Покровитель Стад,
всех копытных бог, родников знаток.
Детский оберег, голубой платок —
между серых юрт притаилась быль,
плачет в сумерках молодой ковыль,
гроздь белых бус полетели вниз —
града летний груз, молодой кумыс,
не сосчитан год, неба синий свод,
моря синий свет, гул пчелиных сот,
шквал небесных вод, лодок белый ход,
гром подземных од, мгла земных широт! —
на земле нигде, ни в каких местах
так не таял ласково на устах
твой полынный сок, твой цветок-дурман,
светлый горький мёд, стронций да уран,
в тишине ночной под чужой луной
сладкий волчий вой, тёплый шёпот твой,
твой, терской-трава, южных гор молва:
языков исчезнувшие слова
отзовутся молча — там, на скаку,
мой дрожащий голос допел строку.

ОПИУМНАЯ ТРОПА

осмотрись глупец-канатоходец под седлом элитный иноходец
в белой юрте комсомолка спит
за плечами город богородиц и кремля краснокирпичный скит

как и прежде погранцов кидая прёт сюда сервизы из Китая
жилистый хитрец-контрабандист
маковая рожа испитая пламенных идей пропагандист

а за краснозвёздную оградой упоённый должностной отрадой
перелёт диктуя недолёт
матерится особист отрядный золотопогонный людовед

долг век медлительного зомби а куда спешить когда ты в зоне
камень безответен и угрюм
дремлет мгла лучистая во взоре гласных в древнем имени уйгур

ожидая гога и магога жмутся сиротливо и убого
руны на глазастом валуне
молча обрывается дорога в медленно свершающемся сне

тёмный взор гортанное дыханье лепесток и лезвие дунгане
бровь аллаха легкий блик серпа
ночь рассвет фонарики в духане безымянных стычек черепа

больше ничего на свете кроме взвесь арабской и китайской крови
узко ускользящая мгла
дымной доброй мудрою игрою притворится тонкая игла

слезь с коня на землю погляди-ка здесь сошлись бестрепетно и дико
все приметы древних наркотроп
смутное камлание калмыка кровью окропленный хронотоп

да не сотворим себе кумиры коль историей перекормили
так ли современность тяжела
и в местах где главарей громили неисповедима тишина

до чужих созвездий путь неблизкий жмётся лошадь на тропинке
склизкой
нищая заря бесследный след
и под камнем карабин английский спит в земле киргизской сотню лет
чужакам не вымолить мгновенья здешний мир не ведает сомненья
он на старте с первой мировой
пламенное толп остервененье белый дом с горящей головой
некогда в предчувствии погони ржали апокалипсиса кони
вот с таким же злобным торжеством
журавли на скорбном небосклоне плачут не уменьем а числом
древний облик отчего порога опиума старая дорога
вещий вектор шёлковых путей
пусть ещё продержится немного без глобализаторских затей
только мнится в безысходной муке что благую весть в копытном стуке
всадник на азийском рубеже
нам несёт как весть о мятеже
пахаря отрубленные руки

СУМЕРКИ

Гора, перегораживающая закат и рассвет,
съёживается под восходящей луною.
Дремлют собаки, измученные тишиною.
Шумит река. У времени имени нет.
Местная живность, о четырёх ногах,
дарит двуногим зренье всего на свете.
На сосцы матерей притязают дети — и те, и эти.
Млечный шёлковый путь, в небесах начавшись, зачах.
Осёл, откликающийся на имя Ишак,
повелевает судьбой, т.е. хвостом и ушами.
Ветер ущелья свистит в человеческих ушах,
нескромно липнет к оконной раме
чабанского домика, чей фасад
остановился взором вниз по теченью,
как бы не придавая значенья значенью
будущего. То бишь — не оглядываясь назад.
У девочки, замершей за оконным стеклом,
недоброе солнце зажгло недобрый румянец
на монгольских скулах. Платья ситцевый глянец
оттеняет взрослеющих губ нежный и злой излом.
Безмерные ели на той стороне реки
в упор не видят отар, рассыпавшихся на склонах,
и всадников, к изученью пейзажа не склонных,
хотя оглядывающих всё сущее из-под руки.
Равнодушной кобыле железный кляп вдевая в уста,
путник думает о далёкой и вздорной подруге,
хотя больше о потнике и надоевшей подпруге,
ибо ехать придется через глухие места.
Ехать, в сущности, некуда. В никуда
устремляется вслед за рекой свет звезды. А звезда
сквозь ночь уставилась навсегда
на большие и малые исчезнувшие города.
Свет меняет свой цвет. Вечер озяб на ветру.
О поездке, как видно, не может быть и речи.
Варится мясо. Текут слова человечьи.
Девочка выходит из дома и молча идёт к костру.

РОЖДЕНИЕ РАПСОДА: ФИНАЛ

Красные горы, зелёные горы и белые горы —
воздух арены, солёный и пыльный приют,
вечные всадники тешатся вечной игрою,
черные тени зелёной землю бегут:
туша козла и хрипящая конская шея,
чёрная пена на белом оскале удил,
преодоление паденья, где песня ущелья
белой рекою летит, выбиваясь из сил...

Белой рекою, и плоской землёю, и круглою далью
дух наш увенчан, наш бег вековечен одним —
всем, чем живём мы, страдая и сострадаю:
душу дать миру, бессмертно назвать этот мир.
Алая песня на чёрных губах запечётся,
старой арчой расплывается горн кузнеца,
беркут сквозь полдень, с ухваткою канатоходца,
стынет недвижно. И время — не знает конца.
Древняя пыль под ногой да трава молодая.
Где начался ты, в какой неродившейся мгле
первый раскат далеко позади — аламана,
скачки, смешавшей дороги на этой земле,
этой земле — а иной, коль живём, не промыслим,
птицы недаром ломают о воздух крыла,
горные козы на выстрел несутся по высям,
душу дать миру несется слепая стрела...
Первый закат, опалённый полынью и кровью,
Выжжен беспамятством, стёрт тишиной и луной.
Первый рассвет, что вздохнул в безымянном становье,
первый рассвет, в ком запел родничок под горой.
Первый... О, первому, первому мигу навеки
всё в нас обязано: сущности соединить,
всё ощутить и забыть, чем вселенная в человеке
млечных путей протянула томящую нить!..
Я твоя вечность и прах! — слышу голос ущелий —

я торжество горизонтов безмерных твоих,
всё, что пропели, напева забыть не сумели,
жизнь, аламан мой, в полете затверженный миг!
Молодость, выше! — ты старости свет наверстаешь,
мигу подвластна — но взор проникает года,
где, словно славное эхо скорбей и ристалищ,
гаснет звезда, ледники покидает вода.
Красные годы, зелёные годы и белые годы,
я вас предчувствую: в осени — привкус весны,
сумерки медленно входят в дрожащие воды —
юных коней, запредельных огней табуны.
Что вас, неседланных, сбило в табун пестроспинный,
что вас, некованных, вбило копытами в даль? —
красное солнце летит, провожая долиной
бег этих лет, упоение их и печаль.
Мчались по солнцу — и вышла дорога дугою,
где ты замкнёшься в неведомом круге, дуга? —
пусть по забытой тропе пролетит поколение другое,
юности каждой дорога её — дорога.
Красною пашней, зелёною пашней и белою пашней,
древним холмом, умирающим солончаком —
вслед за воскресшей и без вести снова пропавшей
целью и жизнью — копыт прозвенит дерзновенный чекан!..
В медное стремя вонзается медное солнце,
медные звёзды гадают на золоте лет,
финиша — нет, и земля исступлённо несётся! —
счастье и боль в этом беге — но финиша нет,
необратимо стремленье! — в раскаянном крене,
с конскою гривой в зубах, по земле пролетим,
плоти руин и погостов равны, по горячей арене,
хлебом единым испытаны — бегом одним,
дедовский шлях, неприютность небесного грома,
дней и ночей не разделишь — светло и темно
душу стихия выносит за край окоёма —
только земля, только синее небо одно!..

...Сердце от бега когда-то взорвется и смолкнет,
я не забуду, как падала в гриву луна,

степь распрямлялась, и конь, запаленный и мокрый,
медленно брёл по следам своего табуна:
красные всходы,
зелёные всходы,
чёрные всходы...

ЛУНА ДЖЕРГАЛАНА

... и все же увёл я во влажную ночь
двух кровных кобыл и полковничью дочь
и скрыл их в разлёте ковыльной волны
от всех революций от вечной войны
и пусть мне не ведать что будет со мной
с родной стороной за гражданской войной
и пусть в нас состарятся тело и дух
но нынче вселенной нам мало для двух
по травному лону копыта стучат
кузнечики плачут и звёзды молчат
неслышно звенят на рыси удила
и стрелка по кругу обратно легла
и луч от звезды в вышине проколол
озёрную даль и ночной Каракол
не ложь не надежда не брат и не враг
на дне мироздания колодезный мрак
ни лживых надежд ни постылых вериг
немым и глухим безымянный язык
ни крови ни боли ни будущих лет
за нами струится серебряный след
очей под луной серебрятся белки
ласкают мне плоть молодые клыки
и юная всадница в медной луне
дыханьем спалила рубашку на мне
и длятся предвечные голос и взгляд
кузнечики плачут копыта стучат

НОЧНОЙ РАЗГОВОР С ЭПИЧЕСКИМ ГЕРОЕМ

Олжасу

... На скакуне Ак-Куле Он скачет по древней земле,
теряя юных соратников, растратив судьбу свою.
Он полон чужой мольбы, надежд, рождений, смертей,
задыхаясь от чьих-то скорбей. Таким Он пришёл ко мне
бессонной тяжёлою ночью, у бед моих на краю,
и молча забрал мою боль. Но стало ещё больней.
Ночь исполненья желаний молитвой не расколоть —
каменную слезу синей зарницей пролей! —
не всем отзывается Он. И тесен воздух Ему,
в сиротстве космической ночи — черна бесплотная плоть:

— **Зачем беспокоишь, смертный, смерд нездешних кровей,
зачем в чужую стучишься тысячелетнюю тьму?..**

— *В сны принца Шокана врывался ты, каменный исполин,
являлся — белогвардейской юной крови хлебнуть
или демонским слухом внедриться в новые слезы и смех?*

— **Завет нездешнего мира для всех вас неисполним,
зову я детей кочевья продолжить мой горький путь —
чтоб научились слышать спетое не для всех...**

— *С годами грубее камня становится разум земной,
и тот, кто поёт о Тебе, уже изверился вдрызг,
да Ты и сам притворился, что вновь всесилен и юн.*

— **Но каждый певец воскликнет: Манас являлся — за мной!..**

— *Века воспевают Тебя, побед Твоих горький приз,
но как пульсирует боль в шрамах победных рун...*

— **Да, я прихожу к певцам, вливаю в них древнюю кровь,
в которой гудят напевы и стелется тишина! —
да, в слабую память вживляю события и имена,
ненависть, хмель отваги, жизнь и смерть и любовь! —
да, с ужасом и восторгом растерянная страна
каждой травинкой тянется в грядущие времена!**

...Он скачет чуткою степью на скакуне Ак-Куле,
и гладит серый ковыль обводы медных стремян.
А где-то в аиле голодном малец, не знавший отца,
плача, пробует голос в одушевлённой мгле,
провидит пугающий путь, колких звёзд караван,
где Он воззрится во тьму — отец, не знавший мальчика.

СОНЕТ САЛИЖАНУ ДЖИГИТОВУ

Чадящие лики шумера,
берцовые кости омара
хайама. Царица тамара
с котлом. Юрты горняя сфера.

Гомеровская химера —
осенним распадком отара,
окутана облаком пара,
грядёт, словно высшая мера.

Всё это — киргизская лира,
сплав бедного палеолита
с латиницею алфавита,

оплёванная пальмира,
где в зеркале видно полмира,
а прочее — смертно и скрыто.

ПРЖЕВАЛЬСКИЙ

Солёная чаша полна тенгрианскою синью:
приляг на попону над каменно-злобным карнизом —
с высот Арашана стекает пропахший польною
немолкнувший ветер, учебник зовет его — бризом.
Тяжёлые птицы неведомой хищной породы
на стенах мазара торчат, как столетья покоя.
И жирные песни творят под шатрами рапсоды,
и старая нота пронзает истёртой тоскою.
Тяжёлое небо прогнулось над горной долиной —
вот, кажется, звёзды, как мелочь для нищего, бросит:
пока собирались мы к веку явиться с повинной,
кочёвка пришла — и настала пустынная осень.
Усталые кони остатки травы подбирают.
С котомкой кашгарский шиит — будто оптинский инок.
В потёмках безмолвно на мир незнакомый взирают,
встречаясь, глаза казаков и замужних бугинок.
Мы мир свой забыли и стали бесплотною тенью,
не помнят и нас, поклоняются богу иному:
дорога к ущелью длиннее, чем век поколенья,
спешили домой — а прибились к подворью чужому.
Что было в начале пути — ни к кому не вернётся,
с озёрного дна ухмыльнётся дворец Тамерлана,
оступится конь на тропе, и казак встрепенётся,
и серп в небесах обернётся судьбой без обмана.
В тифозном бреду разве вспомнить, зачем начинали
дорогу в полмира — чтоб путь оборвался в полсвета.
И мнится: пичуга, тоскуя на чёрной чинаре,
по-русски поёт, генерал!.. Впрочем, глупость всё это.

АЗИЙСКИЙ КРУГ

...Не лукавь,
взглянув на круг ипподрома —
круг земной.
Тебе только кажется, что ты дома.
Это дом не твой.
Не роняй, однако ж, в бессилье руки,
ты ведь не таков, —
ибо ты не только в азийском круге,
ты — в кругу веков.
Ничего не поправит тот, кто славит —
но какой ценой!
Не азийский круг тебе счёт представит,
а круг Земной.

Не лукавь,
предвидя года обиды,
гнев и боль.
Рухнули твои пирамиды? —
Бог с тобой.
Не лукавь,
не предчувствовал ты исхода,
не винись ни в чём,
торжество отторженья — людская природа.
Полумесяц и крест над плечом.
Всё, что ты создать возмечтал, —
неправда.
Блуден разум твой.
До сих пор в крови течёт Непрядва,
Бог с тобой!

Вся твоя надежда — сроднить народы,
вот и получай результат:
пересохли реки,
северные воды вспять не хотят.
Вся твоя услада — дыра в озоне.
Не юродствуй: не повезло! —
на луга,
где бродят женщины и кони,

исторгается звёздное зло,
люди языка своего не находят,
бурлит заблудшая кровь.
Эпоха исхода:
народы уходят —
чтоб не встречаться вновь.

Не лукавь,
ты не знал, что ринутся всадники
на спящие города,
что споткнутся души,
ослепнут странники,
изгнанные в никуда.
Не лукавь,
ты знал: не придёт мессия
под привычный кров.
Что страшнее, когда отвернулась Россия
от своих сынов!

Кого же нам винить, принявшего муки
за всех?
Крикну: я родился в азийском круге! —
безразлично шумит орех.
Вдоволь не сумели с огнём наиграться,
натешиться не смогли —
снова наступает пора миграций.
А завтра —
с земли?..
Души наши, покинув тела, воспаряют
до облаков?
Не лукавь:
да как они только взлетают —
на каждой столько грехов!

Ты, свой чуждый край называвший
милым,
ты, возлюбивший чуждый язык,
понял или нет, что тебе по силам
расставанья миг?
Все здесь ждёт в недобром своём веселье —

час и год,
небо, обвивающее ущелья, —
когда же начнется исход.
Не сыскать тебе тропы к водопою —
не видать ни зги.
Не лукавь хоть однажды с самим собою,
хоть однажды не лги.
Не лукавь —
сама судьба ответит,
компас вырвет из рук.
И ухода твоего не заметит
Азийский круг.

ИМПЕРСКАЯ ЭЛЕГИЯ

О храбрых и мудрых, о дружбе, о вечном предательстве
Напомнит нам эпос сухими устами истории,
О долгом и тщетном племён и времён препирательстве,
И все его строки — не строки, но стоны истошные:
Безмерного рабства в глазах отраженья забытые,
Звучат и двоятся, безмолвные годы отматывая...
Кто б знал эти склоны и доли, в веках позабытые,
Когда б не звенели о них озаренья Айтматова!

Кто знал эту землю и чудо сказаний печальное,
На ветренном глобусе прочим народам не нужное,
Зов гор и степей, ледников с небесами венчание,
Кто слышал напев, затаивший молчанье недужное,
Кто ведал меж нами движенье созвездий согласное,
И бег табунов, и отар упоенье весеннее,
Кто чувствовал слово, над душами близких не властвуя,
И в нищем кочевье увидел эпох столкновение?..

Что толку и смысла детишек пугать геростратищем
И мутные мифы плодить — должники что ли веку мы?!
О старом народе, в веках своё счастье растратившем,
Расскажет — художник. Ведь больше-то, в сущности, некому.
Пророку в отечестве худо: охрипнув, аукает,
Бесхозных выводит на свет дураков-соплеменников,
А вслед ему юные волки, свистя, улюлюкают
Да смотрят бесслёзные очи его современников.

И все они — нытики, критики и паралитики —
Ни знать не желают, ни видеть, ни верить, ни чувствовать.
Устав и изверясь, пророки уходят в политики.
Но все остаётся по-прежнему — на сердце пусто ведь.
За жиром наград не скрывал он, как сердце надорвано
Навязанной некогда ролью светильника разума.
Кумиру лжёт нация! Лжёт — пересадкою органа.
Но сердце болит за страну, хоть болеть не обязано.

Железного века ветра пролетают, пронизывая! —
Он, сын Ала-Тоо, прошёл по планете и вечности,
За космосом чуждым он молча провидел Киргизию,
В реченьях далёких он близкое слышал отечество.
В снегах и бурьянах застыли родимые прерии,
Родимые пятна горят, словно знаки отличия,
Всё ставят в вину ему — смерть большевистской империи,
Крушенье культур и надежд, маскарад безъязычия.

Но всё отойдет — и глумление, и поклонение,
Безвестные сёла воздвигнутся вновь над столицами,
Устав от безмолвья, неграмотное поколение
Вернётся к нему и заплачет над теми ж страницами!
Летит иноходец и длится любви заклинание
Над пустошью лет, над людскою судьбой одичалою! —
На дне этой жизни, невнятной, как воспоминание,
Дрожит тополёк, не укрытый косынкою алою.

Охотник о сыне поёт, внемлют звёзды бесстрастные,
А в небе безмерное время зарёю полощется,
И души ушедших познали последнее странствие
На Млечном пути — на печальной Дороге Соломщика.
Родимой чужбины мутны горизонты осенние,
Утратами горькими жизнь безответная полнится,
За всё, что не додал ей, — родина дарит прощение,
За всё, что ей отдал дотла, — что-нибудь да исполнится!

Час пробил.
Бессмертна эпоха Чингиза Айтматова,
Железного века эпоха, масштаба безмерного.
И жил, и творил, и дышал он — для Века Двадцатого.
Но дрогнули руки, открывшие дверь Двадцать Первого...

10 июня 2008

ЦЫГАНСКАЯ БАЛЛАДА О МОТОЦИКЛЕ «КОВРОВЕЦ»

Улочка киргизского славянства,
век хрущёвский, скобяной уют,
чужаку не след сюда соваться —
но не так, как нынче: не убьют.
Здесь хохлы, чеченцы да цыгане,
зелен кукурузный палисад,
здесь порой бредут по ранней рани
вместе — коновал и конокрад.

На высоком тополе скворешня.
Толпы вишен, детства лён и лёнь.
Коля Отвали-Моя-Черешня
в гости приезжает каждый день.
И хозяин, хитрый дядя Гриша,
зорко дёргает щекой рябой,
да воркуют на высокой крыше
турманы смурные за трубой.

Кряжист гость, золотозуб, буровист,
молод, в своём таборе — орёл,
ярко-синий мотоцикл «Ковровец»
в «Спорттоварах» лично приобрёл.
Темный, потаённый лик цыгана,
жёсткий взор из-за угла судьбы.
И летит над крышей балагана
синий дым из выхлопной трубы.

Длится всё, как вечно начинали —
золотой улыбки дым с огнём:
— Эй, чавалы, как тут ночевалы?
— Кто об чём, а мы-то о своём!
— Шо с базаром, говорю, ромалы,
али ж мусоров не маханём?!
...Только у дядь-гришиной Тамары
грудь трепещет, словно махаон.

Веки тяжелы, как у богини.
Губы, как смородина, влажны.
Дым царит над миром, синий-синий.
Мотоцикл тоскует у стены.
А в глазах цыганки злая воля
полыхнёт, как огненный узор —
и внезапно умолкает Коля,
и тускнеет ястребиный взор.

Книжник, пятиклассник, параноик,
я расту, я жилист, как лоза,
я презрел всех юных пионерок,
я гляжу в цыганские глаза:
только мне дарована отрада
знать, что ей плевать на всех парней! —
нагота, цыганская наядя,
тьень моя колеблется над ней!..

А она, знать, силу проверяет,
вырасту — чтоб мне принадлежать:
у воды купальник доверяет
сзади натянуть и завязать,
и, к её спине прижавшись ухом,
будущее прозреваю я,
проникаю сокровенным слухом
в логово земного бытия!..

Но ещё есть страсть, что душу гложет —
мотоциклов радостный накал,
гул моторов жизнь мою итожит:
нервный «Иж» и яростный «Урал»,
картер, карбюратор, поршневая —
громыхают, жаркие, во мне,
и летят, как шарик Первомая,
экипажи в синей вышине!

...Летний зной — сильнее и безутешней.
Где они вдвоём? Да вон, в саду.

Коля Отвали-Моя-Черешня
ей цветы срывает на ходу.
Что-то шепчет. Вот их скрыл колодец.
В небе облака, как молоко...

Вот тогда я и угнал «Ковровец»!
Только не уехал далеко.

ПОКИДАЯ СТЕПЬ САРЫ АРКА*

Шесть сонетов расставанья

...бесславно и беспрекословно...

Бахыт Кенжеев

СОНЕТ ПЕРВЫЙ

Братие, всё! Уходим и освобождаем
этот мир, преисполненный каменных рун,
эти чистые ночи под взорами лун,
эту грань горизонта с расколотым краем.

Равнодушьем неспешных отар ограждаем,
отступает на запад готический гунн.
Глаз разрез всё острее, всё пугливей табун
алых маков, наполненных месяцем маем.

Губ дрожащее прикосновение в ночи,
тьнь молитвы и запах горячей арчи,
стон несказанных слов на полынном наречье,

плач шакала и ветер из стаи холмов!..
Уходя — уходи, и не жди что навстречу
полыхнёт половодье ковыльных валов.

СОНЕТ ВТОРОЙ

Ослик тащит арбу, ликом павлик морозов,
сволочь злобной саванны уводит в пески,
берега открывая при этом каспи
йского моря до тмутараканских морозов.

* Голодная степь (*тюркск.*: золотое ожерелье).

Где ты, шейх яссави, безутешный философ,
плюнь на климат, под сводом забвения спи!
Сохнут тысячелетья в голодной степи —
плач колодцев, нирвана небесных совхозов.

Обозначит пути, *там* исправив на *здесь*,
неба вышнего неумолимая спесь,
нам понять ли, коль тронуты тленным весельем,

сокровенные планы песочных часов?
Спрячт космос и хаос над нищим ущельем,
полно верить наветам чужих голосов.

СОНЕТ ТРЕТИЙ

Варварской, евразийской вульгарной латыни
отзвук... Мгла. Материнского чрева пра-речь.
Кто устанет, тот в отчую землю прилечь
не мечтай — мы из азий придём молодыми!

Человечья река растеклась по долине,
нёс вам слово — верните мне голову с плеч!
Щит при счёте ноль-ноль тяжелее, чем меч,
рёв надежд и смертей молох неутолимый,

геспериды швыряют огрызки времён,
гул вокабул над перезагрузкой племён
обещает прощение по гумилёву!..

Брежит старая плешь золотого руна.
Тишина. Тигр крадётсЯ в силки к птицелову.
Полно плакать — и так уж проблем до хрена.

СОНЕТ ЧЕТВЁРТЫЙ

Те ж телеги, на коих пришли из россии,
скрип колёс, плач комуза, туман из ложбин.

Меж двух родин — теперь уже меж двух чужбин! —
чужеродные замыслы заморосили...

Низких истин испытанный принцип простили
тем, кто право прощенья как истинный сын
не рискнул разменять на останки причин
или следствий. Колониям сроки скостили.

Мы напевы вернули родной стороне,
только нынче они — как мычанье во сне:
ветвь к забывшему дереву не прирастает,

на устах остывает иерусалим,
лёд голодной степи никогда не растает,
он — судьба, не подвластная срокам своим.

СОНЕТ ПЯТЫЙ

Невербальные помыслы, полдень творенья,
шифр верблюжьей колючки и морзе копыт,
и ничто не забыто, никто не сопит,
никого не знобит и легко повторенье...

Наш сезам по истекшим слезам — вот паренье,
что нам значит невиданной родины вид! —
вот и первая боль, ты и схимник, и скит —
атропиновый взор, антропоида бденье.

Фиг ли плыть сквозь эгей с бугаём на юга! —
полно врать, и до смерти четыре шага:
постаревшие бледные щёки европы,

синий вал, первый мир, и корабль, и руно —
истуканы эпох и таблиц остолопы!
Мене текел, всё — взвешено, всё — включено.

СОНЕТ ШЕСТОЙ

Прочь, река, жест песка дикокаменным гудам —
неприличный, однако же время всё съест —
невесёлых вещей нерешаемый тест,
смысл творенья, для тварей открывшийся чудом...

В назиданье ещё не рожденным иудам —
в небесах полумесяц, похожий на крест.
Детство, поезд, печаль, полустанок, разъезд,
тьень за облаком, как за двугорбым верблюдом...

Ощущенье любви, не сумевшей найти
своё бедное имя в начале пути:
сар'арка свист аркана зари озаренье,

тише краткого вздоха о-омин и аминь —
это жизнь, золотое твоё ожерелье,
горечь губ твоих, сладкая эта полынь...

ЛИКИ АЗИИ

Вижу —
в этих, застывших от века
неподвижных чертах — погоди! —
ледниковый период Барсбека,
мёртвых куколок Ши-хуанди,
белый войлок зыбучего трона,
ропот рек, чья стремнина чиста,
тьнь улыбки в укладке закона,
плотоядную линию рта,
предвкушение мести в покорном
поклонении кланов и сил,
ордонансы, не внятные ордам,
гул копыт над покоем могил,
ошской пажити сирый участок,
тьму на старой священной тропе
хеттских, скифских, усуньских, кипчакских
черт — в арийско-монгольской толпе.

Всё смешалось — надежд освященье
и глумливая нищая спесь,
ненасытности и пресыщенья
вековая гремучая смесь,
и на глади недоброго камня
проступают не зря письмена —
брови, скулы, глазницы, дыханье,
имена, племена, времена,
чистый разум в космическом блеске —
гуманизмом не тронутый мозг,
древних милостей тусклые фрески,
плоть истории, мягкой, как воск,
древних казней немислимый кодекс,
дух эйнштейна со скрипкой вдали,
одряхлевший, пришедший в негодность
ключ европы в азийской пыли.

Пусть рождённому в этих теснинах
третий глаз даст лишь чуждая кровь:

миг, суфийских пустынь фотоснимок,
вздёрнет череп глумливую бровь...
Примилив, исцеляет и ранит
только стон из раскрывшихся уст,
лунный пламень, что память обманет,
звёздной плоти гранатовый вкус:
чёрным отсветом гуннского эха
вспыхнет вечность в тебе и во мне —
женский плач, золотая утеха,
растворённая в общем огне.

ДЕРВИШ В ГОРОДСКОМ ПЕЙЗАЖЕ

От зноя, мазута и лени
Погасли зрачки у сирени.
Кто он в этот полдень без тени —
Блаженный? иль странник и вор?
Он стар. Не родился ли старым?
По серым бредёт тротуарам.
Не вспыхнет песчаным пожаром
Коричневый взор.

Уже не судачат соседки:
Листок ли, сорвавшийся с ветки,
Агент ли английской разведки.
А может, взаправду — агент?
В тулупчике драном, средь мая,
Вприпрыжку бежит он, вздыхая
Под лисьей копной малахая
С обрывками лент.

Замрёт на пустом перекрёстке,
Где люто тоскуют подростки,
Газет уворует в киоске,
Присядет в арычной тени.
Он щепочки в воду бросает,
Советскую прессу листает,
Смеется и слёзы роняет.
И кружатся дни.

Отсюда не видно истока.
Но чёрная сура Пророка —
О чём она? Божие око,
Змея проползла по песку.
Встаёт он надменно и сухо,
В столовую входит без стука.
Тарелку бесплатного супа
Не жаль дураку.

Морской горизонт за домами.
Но заперто море горами —
Не море, а колокол в драме,
Солёное озеро гор.
Лик Азии смотрит со склона,
А дальше — курортная зона,
Пустыни бесхозного лона
С субтропиком спор.

Живёт он в берлоге убогой
Над Торугартской дорогой.
Над мазанкой — месяц двурогий,
С призывами выцветший щит.
Нора от райцентра не близко.
С поклоном старушка-киргизка
Лепёшку оставит. И низко
Лишь ястреб кружит.

Что это за горькая сила,
Что дух одиночества скрыла
В толпе? — не ищите здесь смысла,
Быть дервишем — это честней:
Дурак — он царя не боится,
Могилы слепая бойница —
Душа его. Птица кружится —
И он вместе с ней.

Однажды помрёт, не иначе,
Сверкнёт, как монетка без сдачи,
Сморгнёт только город Рыбачье:
А где наш святой? — не видать.
Но будет особая группа
Стоять у остывшего трупа,
Коль ампулу смог он — как глупо! —
Мгновенно сжевать.

И что это все-таки значит,
И кто о нём где-то заплачет?

Но розыск давно уже начат,
Давно завершён.
Ты сплетнею беса потешишь,
Дурацкой печали не удержишь —
Нет-нет, да и вспомнится дервиш,
Английский шпион...

МОНУМЕНТ В ДУБОВОМ ПАРКЕ

Вот гранитная пушка. Вот чёрная в космос дыра
для подземного пламени. Список при том погребённых.
Молодая мамаша в блаженстве забыла дела —
это с нищим цветком к обелиску топочет ребёнок.
Именуемый администрацией вечным огнём
(газ весьма нынче дорог, и это, конечно, прискорбно),
гаснет адский костёр, где Вчера и Сегодня — вдвоём,
но грядущее славное явно наступит не скоро.
Сохнет дёрн под копытами тех безымянных полков,
коим век миновал, как и их беспробудным аскерам.
Золотится песок, бестолков, под железом подков.
К чаю голову Сухова здесь подадут на доске вам.
Сохнет эта долина и сонмы окрестных долин,
восходящих к ущельям, куда испарились повстанцы.
Ветерок тенгрианский сдувает с души нафталин.
Старики-чабаны пьют кумыс в предвкушении санкций.
Умирают дубы. Ржавы маузеры шалунов.
Поседел пионер, в некий горн неотзывчивый дунув.
Современники помнят скупую раздачу слонов,
но забылась давно материализация духов.
Монументы стоят, изрыгая огонь, в городах,
где басмач с первачом и кумач с басмачом побратались.
Облетает листва на столетий истерзанный шлях,
где бездомные души на вечном пути обретались.
Чей-то вздох, чей-то всхлип, чей-то оклик в столетней дали,
нет тут дела до вас в этой усекновенной вселенной! —
деды гнали коней и до этой твердыни дошли,
и расстрельные сны хороши под багровой Селеной.

НЕДОИММИГРАНТ

бежит навстречу мал и кривоног
ворот тяжёлых трудно движет створку
хозяев встретит к вящему восторгу
доложит всё
он выучил урок

мичурин хренов пламенный ламарк
в сырые ночи робкий сторож дачи
треск топот шорох уханье и плачи
весною алый летом белый мак

стреляют азиатка цепь грызёт
дрожат клыки от грома и свободы
там за шоссе дробятся дни и годы
и каждому удару свой черёд

дурак пермяк ушаст и редкозуб
запуган любопытен
детство было
экспериментом пьяного дебила
папаша в орденах
и стар и глуп

в россию подались оставив дом
к родне но вся родня сплошной свинарник
отец лёг помирать в воспоминаньях
а сын в бездомный мир шагнул с трудом

но молодцы менты и погранцы
немедля отловили нелегала
что за нога беднягу не лягала
земля отцов да где ж они отцы

вернули
тут же в рабство угодил
батрачил в хлопковой тюрьме узгена
восточного поднахлебался гена

пришёл туда
откуда уходил

меня в россию взяли б вы тогда
я дом построю даром я умею
я по шнурку
стена
а я за нею
журчит бессвязной повести вода
про телескоп ли
про велосипед
про звёзды
про нашествие тимура

льёт дождь собака с кошкой дремлют хмуро
вот жизнь которой не было и нет

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ТАНГО

Какой властитель в жизни некие мгновенья
нац. историзмом не пленит воображенье:
откуда, мол, народ ведёт происхождение —
возьмёт да спросит, и попробуй не ответь.
В крови — инерция партийного жеманства,
а с нею вера во всеилие шаманства,
мы прячем времени платок в карман пространства:
где надо плакать, решаем — петь!

Вот Резидент зовет Соратника: — Как странно,
мне доложили, что наш предок — обезьяна,
а нет ли в этакой концепции изьяна,
насколько всё ж она касается — меня?..
В ответ Соратник, остро чувствуя свой анус:
— Да, человек собой продолжил обезьяну-с,
поскольку стронулся её гипоталамус.
Но резиденты — ей не родня!

Ответ хорош, он вежлив, точен, смел и ясен.
Но ход истории кровав, жесток, ужасен,
и тщетный поиск славных предков вдруг напрасен?
Вдруг скажут: с древа родословного — слезай!
Умолк Соратник. Длится ночь, смежая очи.
Он Резиденту говорит: — Спокойной ночи!
И Резидент ему в ответ: — Спокойной ночи!
И кто тут зайцы? И кто — мазай?

Вот привлекаются провидцы-звездочёты,
что не чураются ответственной работы,
и «кто тебя?» вопрос — влечёт ответ «кого ты?».
Кумык, калмык, тунгус и друг лесов хакас,
в научной скачке от масштабности хмелея,
опять берут к себе в компанию еврея,
чтоб отличить в итоге ямба от хорea —
решить скорее сей соцзаказ!..

Всех возглавляют: академик-наблюдатель
плюс комиссар (что за комиссия, создатель!),
ещё каких-нибудь народных дел писатель,
аристократ, из местных, собственный масон.
На горизонте дальнем чья это фигурка? —
храпит скакун, на нём летит сельджукский урка
с лицом кагана и глазами демиурга...
Мечты придурка — но в них резон:

— Мы ваши родичи, мы никого не тронем,
в грязь не уроним ваш почтеннейший этноним,
врагов прогоним и друзей не провороним,
и двинем в будущее, сердце веселя,
где для того, чтоб не рассыпались тянь-шани,
веками пишут анонимки сымы цяни,
в то время как полуколхозные дехкане
в рассветной рани кроят поля...

Как всем мечталось в дни имперского витийства,
приткнулась Азия на нарах евразийства,
как знать, что снится ей в анналах карамзинства
и кто там чешет лоб гранатой у ворот?..
Танцуют все, всеобщий бал — как сон весенний,
мы старше всех — и всех, поэтому, почтенней:
всем, соответственно — волшебных сновидений!
Спит Резидент. И — храпит народ.

Мир сладко спит, как дуче с картою генштаба,
как датский принц с карикатурою араба,
как старый тоомас с обрезанием хаттаба.
Господь устал — и смылся, всех перехитрил.
И спит история — свиарный семинарий,
спит маргинал во тьме и спит пассионарий,
на спящих ночь бросает тусклый взгляд фонарий,
а серафим — он, бля, шестикрыл!..

ОДА ЦВЕТНЫМ РЕВОЛЮЦИЯМ

Сотворение истории — элементарно:
всё, что происходит, делается на бегу.
Каждая эпоха рождает себе минотавра,
накануне отдаваясь соответствующему быку.
На задворках её прозябая,
мемуарами не пугай:
первопричина чудища — пасифая,
а не какой-то безвинный бугай,
надыбавший в холодильнике президента
банку варенья. Молодой вурдалак —
в оргазме исторического момента
лезет в брошенный кадиллак.
На лицах толп — единство народов,
демократический оскал.
Муслиновые муслимы на ниточках кукловодов,
в осколках чужих зеркал.
Только опасливый взгляд на падающее светило
говорит, что не кончится это добром,
и бродит в умах, коим пофартило,
непроизнесённое имя — Погром...
А дальше? Новая историческая фаза
самопознания толпы
в сладостном единстве мародёрского экстаза,
в копоти и огне судьбы.
Боже, что за всем этим? — заразная комета,
смерть за углом, чужого лика черты,
бесконечно расползающиеся тоннели интернета,
лабиринты инферно, тернии темноты.
Божественная матрица, из какого же теста
созданы мы —
о, ариаднина нить! —
когда бы ощутили присутствие инцеста
во всём, что натворили и осмелились пережить!..
И как воплощение неверного варианта
в нерешённой контрольной с задачкой про любовь —
в разорванной юбке безумная ариадна
бредёт по тоннелю: потеряла клубок.

Божественная матрица, пиршество воронье,
делёжка, то бишь операция на дробях.
Крейсеру террора снится другая аврора,
мир по уши историей пропах.
Легко ли не потеряться, если склеп — подобье музея
и ты ещё ни разу не умирал!
Ищут подходящего тезея с улыбкою ротозея,
и этим узаконивается мемориал.

КИРГИЗСКИЙ ДИСКУРС. 2010

дитя человечье бездомная лёгкая серна
пересекает шоссе пугает луну вспугнута псами
юность бежит и рвётся бедное сердце
путь завершает земной да вы помните сами
дитя человечье под хоровод звездопада
в свете фар творит истерзанный танец
на жаркой дороге что целую ночь остывала
в серебряных слепках копыт без остатка истаяв
о вот она возвращается с гор молодая элита
и бентли шумят парусами над пыльной волною
к болотам на севере молча стекает долина
кремнистый путь горит и плавится под луною
дитя человечье как одиноко и слепо
предчувствие давит на грудь и велит ты гори там
и сущестительное по имени небо
впотьмах откликается керосиновым метеоритом
дитя человечье нас ждут в небесном аиле
забвенное имя и прошлого стылые стогна
голодные злые борзые опять затравили
дорогу и пешеходов и дом и ждущие окна
предчувствую ужас провижу сестёр на кружале
детей пригвождённых вилами к стенам
лицо гражданской войны роддомы где нас рожали
чумную зарю над Ошом Джалалабадом Узгеном
павшие толпы в нелепом смертном поклоне
неубранных тел неотпетых непогребённых
ребёнка в оранжевом платье на мертвом балконе
распятыя деревьев и тоже над каждым ребёнок
вот площадь иуда сыт по горло осиной
от зверя разит перегаром дрожа обнажилась держава
толпа полыхает со всей пренатальной силой
тужится вспомнить по имени лоно пожара
смерд копоть и смерть столетья спасаются бегством
реченья черты и надежды вливаются в реку
уже на дунганском уйгурском турецком узбекском
заплакал поток убегающий к новому веку
расхристанный ропот беженцы и границы

безглазые лики жилищ гром в бронхах подонков
что было в нас вложено в памяти не сохранится
убежище предков умрёт в экскрементах потомков
кентавры суккубы сатиры из частной отары
и мелкие бесы из позднего скучного мифа
всё позже сольётся в невнятные мемуары
в немыслимом танце отродья скуластого скифа
дреколье и факелы над собой воздымая
на грязную плоть водружая гранатомёты
вновь пересекают вселенную месяца мая
тени дождя о брат мой клыкастый ты кто за кого ты
и вслед за весною спалившей себя до травинки
волоча автомат смеясь с лицом гамадрила
бредёт мертвоглазая осень по наркотропинке
в крови дотлевают холодный оргазм эфедрина
ночь зимняя сказка дней безымянная смена
полёт гуманизма приторный сон шелкопряда
и снова дитя человечье бездомная серна
и бредит луна
и под небом узор винограда

ПЛАЧ ПО ЮЖНЫМ ДОЛИНАМ

1

Виноградная мгла Ферганы,
Два сельджукских лица — две луны,
Только звёзды впотьмах не видны,
Два зрачка — и две чёрных войны,
Два зачёркнутых вдоха.

Сколько сил, сколько жизней ушло,
По камням рекой утекло.
А в итоге — всё прошлое зло
Обозначит словцом «повезло!»,
Умирая, эпоха.

Деды зря кочевали сюда.
В эти годы тоски и стыда
Навсегда моя жизнь без следа
Изломалась, хрустя, как слюда,
Но душа-то осталась.

Ошской крови урюковый цвет,
Чёрных окон, кровавых примет,
Боль и горечь расстрелянных лет,
Жизнь, ты — что, изувеченный след,
Так, бездомная малость?..

Меркнет имя горы Сулейман,
Свет пожарищ и кровь мусульман,
Вечный камень, непрочный саман,
Иноверцев нездешний туман,
Как нелепо, как быстро

В жарких жилах — как ярость и страх —
Рассыпается прошлое в прах,
И кипит на холодных ветрах,
Тлеет в тысячелетних котлах,
Брага
Братоубийства.

Пролетая над Ошской землёю,
 Плачет ангел, испачкан золою,
 Он ладони воздел над собою,
 Неповинные руки в крови.
 Не зови меня к вечному бою,
 Не услышат тебя — не зови,
 Не отроем мы новую Трою...

Смертный смрад, жизнь на две половины —
 Над тандыром ферганской долины,
 Над полями из спекшейся глины
 Облака, закусив удила,
 Убегают, забросив дела.
 Видно, только они неповинны
 В том, что некая мать родила
 Двух сынов от одной пуповины:
 Каин, Авель, азийская мгла...

В нас, внутри, на небесной орбите ль,
 Кто б Ты ни был, Господь-вседержитель,
 Наш создатель, спаситель, хранитель,
 Разным верам предвечный Отец,
 Помоги нам — ничтожным, и добрым,
 Бедным детям и чудищам злобным
 В чёрном бешенстве внутриутробном!..

Или всех нас убей, наконец.

* * *

От зарева луны укрыться не надеясь,
уходят в беспредельность ночные табуны.
Пологий бег холмов, от века неизменных.
У стеблей в жёстких венах — презрительная кровь.
Травы пустынный блеск. Иззябнувшие росы.
Над полосой покоса бесплотный взор небес.
Здесь мига с веком связь и явственна, и мнима,
и всё проходит мимо, всеобщим становясь.
Маячат пастухи, как чуждых предков тени,
земли круговращенье следят из-под руки.
В летящих облаках простор ещё бездомней,
под утренней звездой пространств смятенный страх.
Но прежде, чем звезда осветит тьмы остаток,
на горных перекатах замрёт на миг вода.
И уж погаснуть мог — ну что за чувство долга! —
так горестно, так долго
трепещет
огонёк...

ЕВРОАЗИС

...больше нет на свете варваров.

К. Кавафис

отчего смуглеют лики у наших милых
глаз разрез у младенцев наших души их прячет
проблуждав в хромосомах истинных или мнимых
мы — проект завершённый что в сущности не был начат

что нам варвары — были / не были исчезли / явились
стены города облепили — но грады наши бесстенны
если путь кочевий от липких веков извилист
если мир таков что губительны перемены

иппокрена почто нам коли есть колодец верблюжий
что заплёван ложью беспамятных воспоминаний
и когда неумытое небо нависает над лужей
чем мертвее сосуды тем мелопатия спинальной

полегло былое — уж как помогли испытанья
поколенья в пределы отчие не возвратятся
пришлых родина встретит забвенная испитая —
не то череп в окладе не то оскал святотатства

КАРТА МИРА



КАРТА МИРА

Кто летает во сне, а кто мочится ночью в постели,
все-то мы одержимы одною нелеченой дурью.
Дай нам, Боже, несчастным, чего безнадежно хотели —
надели парусами, не жмись, одари нас лазурью!
Спам отжатых мечтаний. Закаты трусливых восходов.
Клещеногому чурке — мечта о небесной касторке
финикийских ветров. Обезьяний синдбад мореходов.
И галеры, галеры — и толпы, до самой галёрки.
Извращайся же, глобус! Сражайся, божественный логос!
Попрощайся со мной, моё имя, словами простыми.
Разлохмаченной розы ветров криволапая лопасть —
способ кануть в нирвану, где только моря и пустыни.
Мним под крышей чужой, на сосновой присев табуретке,
ощутить кривизну небосклона эйнштейновым задом,
звёздный холод постичь в бормотании гипербореи,
маяки атлантид осязать затуманенным взглядом.
Окровавит наш парус над бездной варяжского моря,
разгораясь, заря на холмах молодого эфеса:
прочь от римской лозы, от имперского счастья и горя,
ты скользни, моя тень, под вокабулы кельтского леса,
огляди, озираясь, предел этих генуй, венеций
и (по списку) иных ненасытно-прекрасных провинций,
где лишь храмы да тюрьмы — и в каждой на нарах боэций,
ну а кто не в тюрьме, тот политик и рвётся в провидцы.
Карта мира, цыганская сказка, чужие пробелы
и чужие проблемы, и чьи-то чужие контракты,
не узнать, для чего корабли творят каравеллы —
и сирены гадают бродягам фальшивым контральта.
Берег! К шпорам пришельца прильнёт и примолкнет планета,
под железной перчаткой, как юное женское тело,
вздрагнет в смертной печали бессмертная плоть континента —
меднокожая музыка, нищая даль без предела,
о нетоптанных травах мечта, неубитых бизонах,
бесполезна, как скальп ирокеза, всесильна, как сорос:
твой озоновый край мазохистов и амазонок,
твой затерянный рай, пряных прерий майнридовый соус,

золотая аляска, в снегах иссечённые годы
да о русской тоске в волосатых устах анекдоты...
Ах, куда и зачем в звёздном плеске ведут мореходы
эти бриги, фрегаты и прочие, блядь, пакетботы!
Коль обманут пространства, постранствуем по эпохам:
тот же хрен, только в левой руке, как иные считают.
Те, кто порох придумали, сделали это со вздохом.
Те же лживые бури судёнышки наши качают.
Книга мёртвых, чужих пирамид треугольные знаки:
боги-псы, крокоидолы, терпкая горечь инцеста! —
как светло нам в ослепших могилах, в рассыпчатом мраке —
стронций, чёрная плоть, измельчённых созвездий авеста.
Хлеба корку сухую из старой сумы я достану
на холме, где когда-нибудь виллу отстроит патриций,
где постигнул адам скотоложества вещую тайну
и межвидовый пафос — и сгинул из рая с ослицей.
Глянь в глазницы червя, баальбек с пересохшей аортой,
чью нездешнюю бездну вселенная не сохранила.
Загадай мне загадку, зверюга с побитою мордой,
скорбный сфинкс, старый сфинктер на заднице жёлтого нила.
Трон захватит дебил. Рядом, в пляске на вымершем вече
вдруг потребует в блудном поту озверевшая сука
на тарелке с приправами мозг Иоанна Предтечи...
Всё по-прежнему, Боже, всё то же: мерзавцы — и скука.
Продолжай же вращенье, земля, посреди мирозданья! —
как же быть, коль не плыть по векам,
по мгновеньям ничтожным,
равнодушные сплетни и летописи порождая,
по чудесным маршрутам, к далёким мирам невозможным.
Глупый индикоплов, никотиновой плоти создание! —
одурев от сомнений, моли о единственной пуле,
чтоб покинула ствол и любовно проникла в сознание,
и пропела тебе позабытое: ultima thule...
И однажды рассеется очарованье тумана,
и устанет надежда нам корчить пиратские рожи,
а небритые твари — тарашиться с телеэкрана,
и откроется суша. И правда откроется тоже.
Воздух горних широт и нездешних сердец логарифмы,

безупречный герой, чей сюжет для ремонта отозван,
карты звёздного неба, подземных даров лабиринты —
это только свеча, что трепещет во сне коматозном.
Смыслов строй предложил нам Творец —
не толпу междометий,
только Слова — не слышим, лишь алчно мечтаем о чуде.
Время бродит в пространстве, шурша черепами столетий,
среди несчётных миров.
Боже бедный, какое безлюдье!..

В ОЖИДАНИИ ВАРВАРОВ*

ТУРИН, УЛИЦА СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Прибудут варвары!..

К. Кавафис

От корпусов чудовища «Фиат»,
сквозь город, странно схожий с Петербургом,
где горделив в гранитах демиург,
проходит Время изменений ряд,
при этом местным ведомых придуркам,
но непонятных нам из наших пург.

В трамвае итальянки голосят,
их диалоги вняты нашим дамам.
Как отмечал едва ли не Адам,
здесь и не дом наш, и не райский сад,
мы — варвары, лишь внемлющие драмам
и юным римской вечности годам.

Легки на объяснительный подъём,
почтенные туринцы и туринки
здесь объяснят маршруты бытия
всё с той же картой города, при том
всё с той же страстью, что на птичьем рынке,
как ты, как он, как, может быть, и я.

Свободные, как птицы, кто они,
кто — мы? Таких не надобно вопросов:
оставим наше любопытство — нам,
и только. Мы на свете не одни,
вот — город, колыбель каменотесов,
ужасно ленинградский по утрам.

* J. M. Coetzee. Waiting for the barbarians.

Хоть ни каналов тут, ни парусов
и тягостно сердцам без Церетели —
над сей пальмирой веет некий бриз.
Я полюбить свой отчий дом готов
за сходство, в коем мы не пролетели,
за блеск пространств, за каменный капрыз,

за то, что сердце вдруг да защемит
от сходства, но большее — от утраты,
что замечал доселе не вполне.
Гроза в тяжёлом небе зашумит,
как подтвержденье чьей-то скрытой правды:
что ж, впрямь, как видно, следовало б мне

обряд прощанья с домом совершить,
покуда жизнь моя не всем обуза
и достигим ближайший окоём,
чтоб по-иному и дышать, и жить,
на Улице Советского Союза,
какой уж нет в отечестве моём....

АНТИКВАРНЫЙ РЫНОК В ЭКС-АН-ПРОВАНСЕ

Ау, средневековый городок,
пристанище студентов и вагантов...
Последних, впрочем, за полтыщи лет
здесь поубавилось: таков итог
всему, тем паче — бытию талантов,
как некогда сказал один поэт.

А может — не один. Или — не он.
Сколь нежен зной коварного Прованса,
смешавший с полудрёмою церковью
сосуд, бубенчик, зеркало, пилон,
весь круг земной старинного пространства,
очерченный рядами галерей!..

Эпоха бронзы. Наблюдай без прав
чужой судьбы причудливые волны:
надраенный, как был всегда таков,
блестящий корабельный телеграф
и русский шрифт — «Назадъ!» и «Самый полный!» —
вот голоса погибших моряков.

Примолкли что-то спутники мои:
печальная, смешная антитеза —
по-русски жить, по-русски умереть.
Я там сфотографировался, и
«Верните наше скорбное железо!»
не возгласил, поскольку это — медь.

Катаров ересь — вся, как этот юг,
напоена горчащим виноградом:
в кривом стволе бунтарская лоза
не прячет пламя христианских мук,
а дьявол, слава Богу, ходит рядом,
лишь только к небу подними глаза.

Ни этих скорбно-царственных хором
облезло-равнодушное величье,
ни эта злая в щелях плит трава
не скажут так о времени ином
нам — как латыни звонкое обличье
в подсвечнике Кретьена де Труа.

Никак не выкину из головы,
что этот мир, который мыши сгрызли
в музеях, где портреты столь темны, —
жив и сегодня: отзвуки молвы,
боренье страсти и кипенье мысли,
кошачий взгляд шафрановой луны!

Один из многих — университет
откроет окна: вот она, «Кармина
бурана», вот хмельные школяры,
как будто не прошло так много лет

смятенья, заблуждений, укоризны,
игры без правил, правил без игры.

Оставь грустить тому, кто загрустил,
всё те ж у всех с фортуной пререканья,
студенчество же — счастье навсегда:
здесь, в переулках этих сонных вилл,
под сенью факультетов Пюрикarda —
всё тех же песен быстрая вода.

Здесь — вещи в человеческом котле
пространства: нет, не отпечатки пальцев,
но слепки душ и силуэты лет,
щемящий отзвук живших на земле
счастливых, страстотерпцев и скитальцев,
которых, может, не было и нет.

...Однажды заблудиться в зеркалах
и — не вернуться. Чтоб не возникали
воспоминанья, чтоб печаль не жгла,
отринуть от себя тревожный прах
и позже не очнуться в зазеркалье:
чужие свечи и чужая мгла.

Костры, поэта нищего строфа,
шальная альбигойская зарница,
метал латыни, сумрак галерей,
вина и плоти грешная графа...
Пускай уж всё здесь до Суда хранится —
в подвалах зданий и на дне морей.

НИЦЦА, БУЛЬВАР «ПРОГУЛКИ АНГЛИЧАН»

Тут вместо англичан — толпа машин,
однако ж все — континентальных марок,
в их лицах нет тоски по островам.
Но это — чисто внешне. Без причин

набег волны и яростен, и ярок,
хоть что-то по пути подрастерял.

Представить только! — в ближнем море флот
Её Величества, а флотоводцы
гуляют на Бульваре лез Англез,
а вдруг война, вдруг чей-то полиглот
вновь призовет к единству, коль неймётся! —
а горизонт — простерся до небес...

Стандартный ангел — в замше цвета беж,
отнюдь не Быков и не Паваротти.
Ди Каприо — ещё куда ни шло.
Всё женщины кругом, а их промеж —
два-три альфонса. А на повороте —
опять иная жизнь, иное зло,

иная даль... Как, впрочем, и везде.
Уиппета выводит англичанка
на тощие газоны. Поводок
подрагивает. От звезды к звезде
созвездье Гончих Псов ищущи нещадно,
но светел сей и в сумерках мирок.

Здесь «Барселону» задушил «Реал»,
охваченный здоровым реализмом.
Отсюда Шумми к небу гнал болид.
Пока окрестности обозревал
приезжий, вдохновленный пресс-релизом,
здесь от испуга помер Айболит.

Швейцар, с антильских явно островов,
ленив в ливрее: се отель — «Негреско».
Всё как из детства, как в немом кино.
Весь этот мир обходится без слов
и, склеенное якобы небрежно,
пространство прочной нитью скреплено.

И там, где в склон врезаются ветра,
где, осыпаясь с неприметным хрустом,
сдаёт пустыня морю свой рубеж,
сегодня — как, похоже, и вчера —
горчит миндаль, поёт Уитни Хьюстон
и стынет капучино цвета беж.

С тысячелетней гордостью в крови
странноприимные космополиты
здесь в склоны врезали монастыри,
а их потомки с криком: *c'est la vie!* —
закатом юной древности облиты,
просчитывают в евро блеск зари.

А сверху Ницца в блеске черепиц
и белых стен — похожа на кладбище.
Смиренное? Отнюдь! Он юн и свеж,
прекрасный принц, в руке держащий шприц, —
Нерон, взирающий на пепелище,
коронавирус в маске цвета беж...

ЛЕСТНИЦА В КАННАХ

Вот — Лестница. В иные дни по ней
восходят лица с нервными чертами,
патрициански озирая мир,
чем выше — тем чужее и темней.
Но лестница забита рюкзаками:
кумир, не сотвори себе кумир! —

весёлые студенты на ступень
зады в джинсовом вздохе взгромодили
и — ржут себе над пропастью во ржи,
и прошлого полуденная тень,
наскучив исторической могиле,
не лезет к нам на наши этажи.

Здесь явно Ганнибал не прозябал,
а впрочем, наши в прежних днях познания —
субтильны: кто-то ж лазил по горам.
Не карфагенянин заколебал
историю, так русский наш Каттани,
Ляксандр Василич, сделал тарарам.

Сей полковнавт с ветхозаветных пор
прославил Альпы шустрым переходом
и породил в потомках — альпинизм.
Чего он, в общем, через горы пёр? —
вот — Лестница: по ней иным пехотам
идти бы, напрягая организм!

Ан нет! — нам здесь погибнуть суждено.
Пускай уж мы в потомках — великаны,
пускай уж мы изведем свой стыд —
измены изумлённое зерно...
Пусть Ганнибал не тот. Не те и Канны.
И всё не то, не то... Господь простит,

а заодно и Каннский фестиваль,
пыльца на чёрных крыльях махаона.
Прощай, прощай, эпоха sineta,
едва ль, вуаль снимая, туалъ
вполвиртуали врет легко и сонно,
коль ты все слышал — ты сошёл с ума.

На миг — так манит ласковый гипноз
Великого Немого! — отвори нам
слух для теней великих, и услышь
десятой музы пламя и мороз,
паденье в грязь, взлёт к заревам орлиным,
и рабский шум, и дерзостную тишь!..

И киноленты мудрая змея
теряет чешую: метаморфозы
Овидию не снятся, раскрутив
эффект побега в дальние края...

И пахнет вереск, выжимая слёзы.
Ну и рыдай, коли уж так слезлив!

Вот — Лестница. Ступает вверх по ней
бесовское и странное вначале
искусство, обрядившись в ремесло.
Мы лишние здесь. И на сломе дней
для Ганнибала тросточкою Чарли
рисует архимедово число...

КАЗИНО В МОНТЕ-КАРЛО

Заметь: здесь лица лишь да зеркала.
Всё прочее — осколки антуража,
пронизанного общим куражом.
Здесь часовая стрелка замерла:
мгновеньями расписанная кража
расходится огромным тиражом.

Но ленинская — в этих зеркалах! —
теория, напомним, отраженья
совсем иные выводы сулит,
и на зелёных вечности столах
вершит рулетка взлёты и крушенья
под близкий отблеск мировых столиц.

Решив вступить в сей мировой бомонд,
рискуя сотней франков с выраженьем
лица в идиотическом клише,
совслужащий, шепча себе: рот фронт! —
с зеркальным повстречавшись отраженьем,
пусть новое узрит в своей душе...

Компьютер выдаст голубой квиток —
и он в бумажнике удостоверит,
что жил и я однажды на земле,
а значит, вправе подвести итог

хотя б себе, а то и нашей эре,
на ноевом безбрежном корабле:

«Да, жил и я. Судьбой был вознесён
в сей мир в его минуты роковые.
Рука Господня привела меня
в Храм Вероятности: о дивный сон,
крупье худые жреческие выи,
весь мир — Игра...» И — прочая херня.

Зане дезодорант и смертный пот
сопутствуют блаженству приключений:
верхом на «кавасаки», и — вперёд,
весь тёплый мир тебя бесстрастно ждёт
за ложью предугаданных значений,
за гранью обозначенных щедрот.

Езжай! Нежна чужая колыбель.
Вернись домой — ведь там твоя прописка,
твоих данайцев скромные дары.
Об этом, впрочем, тосковать тебе ль,
не ведавшему пламенного риска,
жестокоего наркотика игры:

примчаться, бросить в колесо судьбы —
свою, и — потерять её мгновенно!..
Божественное это ремесло —
крутить рулетку да считать столбы:
чужая кровь стучит, чужая вена
не вынесла! А, впрочем, пронесло...

Езжай домой. Легко забудешь там
зрачок Фортуны. Зри — в орла и решку,
на большее и не мечтай упасть:
весь твой удел — воспоминаний хлам,
запомни этот мир как сон, насмешку,
чужой полёт, чужую высь и страсть.

ОДИНОЧЕСТВО В МАРСЕЛЕ

Вот — чёрный юмор африканских солнц
и карнавал мерзавцев — левантийцев,
и вообще — всеобщий карнавал,
похожий странно на одесский соц-
реализм. Но перевоплотиться
в Одессу? — я бы к ней не ревновал.

Арабы притворяются при том
французами: не перевоплощаться
в датчан, заметь, хватает же ума! —
в любом парадном видится притон,
в любом притоне мнится спортплощадка,
вокруг Европа, в середине — тьма.

Пересекая времена морей,
пространства жизнью, полных круговерти,
случайный странник меж случайных лун,
я здесь один, и чувствую острее
в марсельском камне привкус древней смерти,
а в лицах юных — тень песчаных дюн.

Я здесь один. Я в книжный магазин
найти пытаюсь странную дорогу,
но книг, как видно, здесь не продают,
тому порукой вкус марсельских вин —
они таят неясную тревогу,
когда их пьют, да и когда не пьют.

Однако ж я включаю свой калибр,
неважно, что французским не владею.
Идет старик, читая на ходу.
— Месье! — талдычу, — магазин дё ливр! —
и впихиваю старому халдею,
чего я жажду и куда бреду.

Здесь тоже ведь пути пересеклись,
о чем нам возвещает неустанно

история. Точней, её исход.
Взамен пришёл и объявляет бриз
присутствие на свете Океана.
Все — верят. Каждой вере — свой черед.

День рухнул. Испаряется река
толпы. Но, в предвкушенье приговора,
я всматриваюсь в трепетную мглу,
откуда к сердцу тянется рука
безмерного фиалкового взора
туниССкой юной шлюхи на углу!

Что ж, финикийцы, стоило ль гореть,
на углях корчась, как на солнце — крабы,
чтобы теперь на фоне замка Иф
нас звали террористы помереть
за истину, да куksились хаттабы,
ворота в рай кафирам отворив.

Избавь от лжесвидетельства меня,
начало нового тысячелетья! —
напомни всем: «Единожды солгав...»
Утрачен смысл, подобием маня:
я Бога в суете инопланетья
увидел ночью — Он погряз в долгах.

И в Средиземноморье, мнилось мне,
открылось в это краткое мгновенье
Средневековья злое волшебство,
безрыбье ночи в массилийской тьме,
чужое, злое Средиземнонебье —
в Срединном море, посреди всего.

ХУДОЖНИКИ МОНМАРТРА

Подъём на холм, паломник, одолей —
и на алтарь возложишь покаянье,
и здесь, под сводом церкви Сакре-Кёр
судьба на миг покажется милей,
добрее — мир, щедрее — подаянье
и легче — смерть, чей путь суров и скор.

И, всё это увидевший во мгле,
школяр-художник с цепким жёстким взглядом
выводит на язык карандаша,
на чужедальней и родной земле
конструкцию почуяв за фасадом
и будущее линией верша:

собора профиль, склон в руках примет,
небес неизъяснимое наречье,
рождающее в сердце имена,
размытый в нежном мареве рассвет,
каштанов оплывающие свечи,
в улыбке привкус алого вина,

и в невообразимой суете,
под призрачный напев фуникулёра
и мельтешенье лавок у холма,
забытого мгновенья фуэте,
глаз дьявола в ухмылке светофора
и нечто, нас сводящее с ума.

Но отразятся на холсте небес
боль тела, что шептало: пощадите! —
черты лица, измученного злом,
палаческих орудий тусклый блеск,
пыль палестин в Туринской плащанице
и воскрешенья горестный излом.

И отшатнётся эхо от зеркал:
— Художник, я лицо твое узнала, —
смерть усмехнется. — Но живи, пока
меня твой карандаш не отыскал
и я перед тобою не предстала,
как всех поэм последняя строка.

Что ж, я от смерти молча отвернусь:
вот напоследок этот мир вечерний
в прозрачном всхлипе красок дождевых
под низким небом. Коль уж так, то пусть
в реестрике утрат или влечений
прочтём, что невозможно оживить —

вращенье лет и лиц, поющий хлам
сиюминутно-смертного бессмертья,
глаза и губы, очертанья дней,
покровов стон, молчанье орифламм,
безмолвье слов, растерянных при свете.
И — жизнь. И все, что было вместе с ней...

Мой век. Мой Бог. И столь неожиданный март...
Иссякнет всё, поскольку всё не важно,
затем (ах, если б не писать — «затем»!),
чтоб акварель — похожа на Монмартр —
в глазах висела радостно и влажно,
как я, не нарисованный никем.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЗЕМЛИ

Отче Мой!
если возможно, да минует меня чаша сия...
Матф. 26: 39

РОЖДЕСТВО В ВИФЛЕЕМЕ

Исторгнут чревом в круг земной,
дышал младенец за стеной,
а за спиной
мир пахнул прахом и травой,
плыл луч звезды пороховой
над головой.

Над перхотью овечьих спин
стояла ночь. И звёздный луч
сквозил меж туч.
Он был теперь совсем один —
как было это всё облечь
в прямую речь?

И Он заплакал. Мир молчал:
невдалеке от этих мест
был древом — Крест.
Слезам никто не отвечал,
и детский плач звучал окрест
на весь зюйд-вест.

Звезды зеленоватый свет
в зрачки вошёл в который раз
и не погас.
Когда б тем светом был согрет
весь этот сонм цветов и рас
народных масс...

Была ль она, Благая Весть? —
от Мельбурна и до Москвы
спешат волхвы

к овчарне — и теперь не счесть
легко сгоревших слов, увы,
людской молвы.

Стократ рождённый, Он ли был
ответчиком чужой вины,
чужой войны? —
мучений чашу Он испил,
но души наши вновь темны
и дни длинны.

Среди глухих, слепых, немых —
тот первый плач, тот первый крик
в тот первый миг! —
жевали овцы пресный жмых
и червь познания поник
над Книгой книг.

Дитя, в испуге бытия
о чём Твой плач? — Огня, огня
при свете дня!
Отец, Ты видишь — распят Я,
почто оставил Ты Меня,
забыл Меня?..

Всё было — после, там, потом:
Голгофа всех людских долгов,
иных голгоф
и этой Книги вечной том,
и вечный окрик: — Будь готов!
— Всегда готов!

Коль с изолгавшихся небес
потянется к нам от Весов
иль Гончих Псов
однажды вновь — тот свет, тот блеск,
реинкарнированных сов
трёхпалый зов,

когда в ответ в могильной мгле
вздохнут истлевшие тела
(когда б дотла
они сгорели на земле!)
и скажут всё про их дела
колокола,

когда под пустотою сфер
проснётся разум пирамид —
и приамид,
и сахарный миссионер,
и дурковатый кришнаит
рванут в аид, —

останется лишь свет звезды
над Вифлеемом, вздох песка
и ветерка
в смоковнице, и плеск воды:
нас безымянная река
несёт, легка! —

и слышат пахарь-землеед,
вор караванный, скотовод
тот горний ход,
и мореходу кормчий свет
с незаповеданных высот
звезда несёт.

...Младенец плачет. Мир молчит.
Тысячелетия утех
мчат без помех.
Горит звезда. Оплакан — смыт
проклятья первородный грех
со всех,
со всех.

РОЖДЕСТВО В ТАШ-РАБАТЕ**

Рассвета линия сырая в объятья караван-сарая
ведёт — из ада ли, из рая, однако вновь — и в рай, и в ад.
Сын Божий, разве так годится — среди язычников родиться
и срок отпущенный трудиться в пути с восхода на закат?

Презрительно взирая в завтра, верблюд с гримасой динозавра
плюёт, по требованью жанра, на всё, что видит на земле,
из тьмы шагая к нашим эрам и времени служа примером.
И женщина в хиджабе сером спит, зябко сгорбившись, в седле.

На тропах, развёрнутых шёлком,
рассвет глядит голодным волком,
и солнце видится осколком пропитанного пылью льда,
и мгла к лицу средневековью, и снова нужен тот, кто кровью
дорогу к новому становью за нас оплатит, как всегда.

Руины саманидской кладки, вчерашних бедствий отпечатки,
тысячелетние заплатки. Эй, караванщик, как дела? —
и грузный нар**, весь в жёлтой пене, припал со стоном на колени,
и женщина сквозь свет без тени с седла высокого сошла:

с трудом, в навозной жиже, в стуже,
прислушиваясь к тьме снаружи,
льдом отороченные лужи обходит и глядит во тьму,
несёт под долгий плач напева своё измученное чрево,
сосуд любви, предвестье гнева — и то, что суждено ему.

Сын Божий, ах, зачем ты рвёшься туда, где бед не оберёшься,
ведь этот мир, как ни тревожся, опять у дьявола в горсти,
не просыпайся в вечной неге! — замрут пески, замёрзнут реки,
умолкнет зов, волхвы навеки утратят вежи на пути.

* Руины древнехристианской крепости-монастыря, постоянный двор для торговых караванов на тьянь-шаньском севере Великого Шёлкового пути.

** Верблюд-вожак (*кирг.*).

Но озарили полог низкий — мрак боли, гул стихий неблизкий,
стон облегченья материнский, бездомного страданья страх,
и запротестовала эта тьма, и потребовала: света! —
и изумлённая комета забуйствовала в небесах.

Добра и зла не принимая, прими дитя, юдоль земная! —
бессмысленна судьба людская, но тих бездетный небосклон,
безгрешны — кесаря сечение, горящих старых книг свечение,
времен грядущих отречение от прошлых, стало быть, времён.

Светильники небес погасли: в сколоченные наспех ясли
младенца мать в тревожной ласке, печальной радостью полна,
укладывает на солому, прислушавшись к чужому дому,
к безмолвному чужому грому, пронзающему времена.

Что ж, бедная судьба — богата, когда под сводом Таш-Рабата
затеплился костёр адата. И в равнодушной тишине,
под материнскою рукою ребёнок спит, пока покою
его — сообщество людское не позавидует в огне.

Пугает высь хвостатый демон астрологическою темой,
и близок нам одним уж тем он, что, комментарием служа,
напоминает, сколь прекрасно
сквозь время движется пространство.

Большого Взрыва постоянство. Отрыжка разума. Душа...

Из многомерзостного блуда, из тьму отвергнувшего чуда,
он — мухаммад, христос и будда, он, безымянный гильгамеш,
воскликнет: вот она дорога к порогу Бога, но как много
необратимого итога таит познания мятеж!..

Зов неожиданного горна — услышим! — вырвется из горла,
земля вздохнёт легко и скорбно — совсем как старшая сестра,
потянется сознание к сети, сиротствуя на белом свете,
там, где дыханье старой смерти над ухом слышится с утра.

Настанет, поздно или рано: евангелie от талибана,
и рёв голодный калибана, и гнусный ад, и грустный рай.
Венец творенья вновь похерит всё, чему так влюблённо верит.
И лет несчётных не измерит старинный караван-сарай.

Зачем я здесь, случайный путник,
дита толпы, погрязшей в плутнях,
из всех полупризнаний мутных плету истории каркас,
подглядываю за твореньем и не гнушаюсь повтореньем?..
Но полон мир безмерным зреньем: не видим мы, а видят — нас!

Тревогой и любовью ранен младенец-инопланетянин.
Его полёт тревожно странен, он из невидимых высот
нас, грязью травленных, хоть режьте, —
зовёт к невысказанной надежде.
Спасти нас хочет, как и прежде!
Но, как и прежде, — не спасёт.

РОЖДЕСТВО В РОССИИ

Я нашёлся в деревне, распаханной тою войною,
говорили, младенцем. Не знали, что было со мною
и откуда я родом. В деревне и рос год за годом,
но не слился с веснушчатым белоголовым народом.
Видно, мастью не вышел, чернявый, и местною властью
был замечен, чужак, в сельсовете записан, к несчастью,
под пугающим именем. Листья последние сбросив,
мне деревья шептали:
— Откуда ты взялся, Иосиф!

Дед и бабка меня приголубили, ровно грачонка,
дед учил ремеслу: «Только так уцелеет мальчонка!» —
а всего было техники — дедов топор да рубанок.
Подросла молодёжь, но ушла навсегда спозаранок.
И деревня, где рос я, с годами плошала, ветшала,
обезлюдела даль, и скотина в хлеву отошала,
вслед за долгой зимой не весна приходила, а осень,
если гроб сколотить, кто сумеет?
— да плотник Иосиф!

Тихо теплилась жизнь в почернелой соседской избёнке,
то ли в дочке годилась мне, то ли в меньшие сестрёнки,

как и я — сирота. И едва-то ходить научилась.
В беззащитных глазах непонятное небо лучилось.
То ль пасла она коз, то ли козы пасли её хором
под присмотром старухи с тяжёлым прилипчивым взором
(как росла, не запомнил, хоть тысячу раз повтори я),
и звала её бабка протяжно и скорбно:
Мария!..

Не досталось мне милой, с кем нянчат рассвет на обрыве,
что нашла б седину в моей чёрной нечёсаной гриве.
И осталось нас двое на этих полянах бесплодных —
то бездомное чадо, да я, нестареющий плотник.
И не стало деревни,
и мы побрели по увалам,
по крамольным углам, по жестоким российским вокзалам,
по железным путям, что пропахли мазутом и углем,
к заповедным местам,
к человеческим страждущим ульям.

Жили, нет ли — не вспомню:
ни мысли, ни счастья, ни грусти
там, где ночь фонари никогда до земли не допустят,
где в зачумленных душах спеклись кровь, стекло и железо,
где и Бог не узнал, отчего она затяжелела.
Не добиться ответа — хоть смертью клянись, хоть зачатьем —
от беременной девочки, полной нездешним молчаньем.
Ты куда привела нас своими путями, Россия?
Кто тебя обрюхатил?
Не плачь, не печалься, Мария!

А она не грустит, улыбается лишь отстранённо,
смотрит выше голов — где одни провода да вороны,
меня за руку держит, как будто ни века, ни доли,
и в безмолвных глазах не видать ни обиды, ни боли:
вся — в себе, отыскала, чего никогда мы не сыщем,
что-то слышит она —
то, что мы и всем миром не слышим.
И пошли мы к своим пепелищам, два гостя незваных,
никому не известных, беспаспортных, безымянных.

Каково ей пешком, где и давние тропки забыты:
вижу — еле идёт мимо изб, чьи окошки забыты,
но за нами, гляжу, к мёртвой улице сходятся люди —
или нелюди? — зомби на джипе, арап на верблюде,
нехристь к нехристю —
все-то нездешних кровей бесполезных,
и всё к дому бредут, словно что-то зовёт их, больных,
дым валит из трубы, и у печки толкутся, скитальцы,
узкоглазые, смиренные, черти, не то ли, китайцы...

Встала Маша к стене, где козленок берётся сначала,
в чистом тёплом хлеву.

И лишь только тогда — закричала...
И цыганки дитя принимали, гадя и гадая:
«Ай, гляди, ай, дела, пацана родила, молодая!»
И три старых чеченца, чьи дети вокзалы взрывали,
пошептали молитвы, подарки младенцу достали.
И не стало ни страсти, ни горя, ни рая, ни ада.
И настала над миром на миг тишина снегопада.

...Вышел я на мороз —
что-то сердце стучит, не стихает,
и услышал, как смерть моё имя в ночи выкликает,
заметает пурга чей-то след и стучится в ворота.
А над ширью земной — то звезда, то огни самолёта.

БЕГСТВО В ЕГИПЕТ

Mundus senescit...*

Резко сняли министра, и всё у них там закрутилось.
Как обычно, в Кремле не туда и не так покатилося,
сколько слёз извели, сколько грязной посуды побили,
ну а весь конфискат — золотишко да автомобили.
Но экраны вопят на весь мир до вечернего звона,
и на всех перекрёстках торчат привиденья ОМОНа,
мол, поймали за лапу, как славно, коррупционера,

* «Старится мир...» (лат.)

и навалынные прут: что ни ксива в руках — то фанера.
А кого и нашли по подставе, так разве что крайних —
за другими неслышно повёрнут газпромковский краник.
Что Марию ждало, вы б в колонке прочли мемуарной.
Ну а я кто такой? — шеф малярный по части столлярной.

Маша еле идёт с животом... Тут менты в изобилье
на ступеньках у офиса как-то о нас позабыли,
о невыезде то есть, конечно, забрали подписку,
чтоб родную страну не подвергнуть излишнему риску.
И уж ясно, что нам бесполезно куда-то соваться.
Но сказала Мария: «Иосиф, нам надо смываться!».
Я прикинул: и впрямь не сегодня, так завтра закроют,
да и раньше заруют, чем в деле чего-то нароют,
вон и тёща, гляди, в час урочный возьмёт да подсыпет.
Тут, на грех, к нам турфирма соседкина: «Чо не в Египет?»
Ну, Каир так Каир, коль в родных византиях — как в зоне,
пишут, гады, «Иосиф», а держат в уме об Кобзоне,
двинь копытом, гляди, и не то чтобы до Назарета —
далеко не уйдёшь: хорошо если до лазарета.
«Ты рехнулась, — шепчу, — ты ж родишь в Шереметьеве сразу,
ни тамга, ни тайга не спасут от безглазого сглазу!»
А она мне в ответ: «Завяжи поясочек потуже,
в Шереметьеве — пусть, вот в Лефортове будет похуже!»
Ей «Маруся! — шепчу, — может, где-то в Анапе заляжем?»
А она мне: «А дальше — накроемся морем и пляжем?
Нет, не трусь, буратино, не так уж нас просто похерить,
да и только лишь коптам решусь я ребёнка доверить!»

Как прошли мы контроль, паспорта к животу прижимая,
не упомяну, однако Мария была — как немая.
Как летели, забылось в безмолвье всеобщего ора,
только дёргалo молча: домой возвратимся не скоро.
Улетели — одно, но другое — когда прилетели:
что Каир, что Рязань — русским матом набиты отели,
и внизу, у охранника в тесной клетушке с экраном,
вечер крылья сложил и в обнимку сидит с чемоданом,
как не сторож, гляди, а патолого, скажем, анатом,
и несвежий салат приправляет несвежим закатом.

И вот в этот момент, как всегда по закону природы,
у любимой моей отошли горемычные воды.
И пришли три врача, три вообще-то почтенных араба:
— Где она, — говорят, — что рожать собирается, баба?
— Тут она, — говорят, — где-то только что вот мельтешилась,
как бы, правда, уже второпях она не разрешилась.
— Все у русских не так — заикнулся, который Каспаров.
— Иншалла! — бормотнул, волосатый такой, Валтасаров.
— Эй, в машину её, что расселся, супруг, словно боров! —
не волнуйтесь, мамаша, доедем, — сказал Мельхиоров.
Здесь оно и случилось, и крови тут было, и прозы,
я держал её руку, салфеткой промакивал слёзы,
родила с полдороги и долго была бездыханна,
заезжаем — бежит монастырская нянечка Анна...
Ну, вот тут я и спёкся, надеясь: никто не увидит,
а шофёр Симеон, заявив, что на пенсию выйдет,
обернулся к соседям: «Всё, сами мы с русским медведем,
пока я за рулём — куда едем, туда и доедем!»

Назовите мне, если хотите, любую обитель,
кто родился — не знаю.

Но знаю, что точно: Спаситель! —
спас же Мать, и меня там, где голос нам был: не отпустим! —
пусть, конечно, я вор и мой дом — ходорковская пустынь,
но сижу, слава Богу, я в клетке египетских казней:
а сидеть в Белокаменной — надобно быть поклыкастей.

Что ж Ты, бедный Пацан, победительно так разорался —
или вправду спасать человечество это собрался? —
на хрена Тебе в целом бесплодные эти потуги,
их спасай, не спасай, тут одни дураки да ворюги.
Впрочем, плачь, Мальчуган, ведь слеза мира целого стоит,
ну а кто обобрал их, тот вновь их в шеренги построит...

Разум мой не начитан, сокрытого не понимает,
но вся эта шумиха мне что-то да напоминает:
когда пахло бедой, когда кубок судьбы уже выпит,
неужели с семейством никто не смывался
в Египет?..

РЕКА ЯНВАРЯ

Сон Страстной субботы

...и в глубине я разглядел
цветные карты западного ветра...

Хорхе Луис Борхес

он целую жизнь мечтал о январской реке
и целую жизнь она эту жизнь огибала
из тьмы мироздания не узнанная вдалеке
о рио — кричал он и жизнь этот крик окупала
когда сквозь пургу у мёрзлой барачной стены
являлась к нему ибо жажда сильнее сожаленья
он пил повторяя — о рио — осадок — жанейро
светлы твои воды и ясные бездны черны
и в огненной влаге сгорая в студеной беде
на лесоповале у музы с лицом гамадрила
вдыхал эту воду живую тоскуя о мёртвой воде
что только к рассвету о чем-то ему говорила
и скрип ледяного песка отворял ему грудь
не мог он напиться январскою жаркою рекою
по капле лилась океанская синяя ртуть
у мёртвого берега уподобляясь прибою
и виделись въяве и въяве сводили с ума
чужих упований расколотые горизонты
и жёсткие кудри немая зелёная тьма
и тёмная сельва где память бредёт словно зомби
и детские лики цвели и летела в ознобе
в тигриной игре индигирка слепая зима
и там где сошлись сновиденья японских морей
где ветры схлестнулись навек на бескрылых курилах
вновь грезил о городе вечной реки январей
и плакал не зная молитв ибо тут же творил их
где вышний Христос-оборванец в зловонный разлом
спустился и нищие тени Его обступили
и демоны ада на миг устыдясь отступили
дорогу Тому кто не мог не сразиться со злом
за Господом шёл он по берегу мёртвой воды

откуда бы знать что и эта река убывает
и верой соскучась в чужие вступая следы
Предвечного предал — но Тот улыбнулся: бывает! —
а жизнь возвращаясь звала за собою назад
которая осень но в той же весенней поре я —
там сладкий и юный царит в небесах водопад
там вешней жар-птицы немыслимое оперенье!
Господь пожалел и теплушка слепца привезла
в голодное золото степи с пронзительным небом —
с душистым горячим в мешках с караваями хлебом —
и ранняя осень к нему прилегла обняла
и мутные воды лазурной январской реки
и звёздные воды над нею летящего мига
шумя и волнуясь ушли от ослепшей руки
дрожал потолок и шептала безмолвная Книга
о смерти о жизни о детстве —
всему вопреки

ПОД РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЗВЕЗДОЙ

В пропахшей мазутом и смертью горячей грязи —
предчувствие жизни, предвестие высшей стези,
перст Божий вдали — зуботычина Божья вблизи.
Господь, — огрызнёшься, — хоть Ты-то меня не грузи!
А, собственно, что ты хотел, где за общим столом
профессорских кафедр советских царит костолом,
щенок, остолоп, рифмознатец, провидец, шаман? —
вот мир этот,
русский шалман да вселенский обман.

В утраченном времени прятаться —
дедов пример:
рядком конокрад, казнокрад, маловер, старовер.
Во фраке сермяжном ты пикую не потрясал
в компании всяких изгадивших кремль партизан,
живых не едал... Но жестоко — заслуги зачти! —
в белках покрасневших седые чернеют зрачки,

и жилы жжёт злобная кровь:
веселы и сильны
сыны раскулаченной некогда, зябкой семьи.

Ты рвался из стаи, а вышел в её вожаки,
хотя и не спрашивал: «Кто тут за кем, мужики?» —
и к нищим сердцам безнадёжно мостил берега,
хотя и стоял над разорванной глоткой врага,
и благословлял, отстраняя холодный огонь,
не пряча лица, неразумную чью-то ладонь —
коль правда проста,
словно хлеб и вино на столе.
За это бояться тебя и Отчизну во мгле.

Морозной луной за окном переулком облит,
молитвою бабушка тёмное детство продлит:
«Всё сбудется, — скажет, — привыкнешь, испей молока,
а крови успеешь отведать — судьба далека».
Как больно, как чисто пронесётся в небе года,
вот-вот что-то с нами случится — и вздрогнет звезда,
в саманном домишке,
у дикой страны на краю
Спаситель родится — и душу попросит твою.

Ни шатко, ни валко — бери мою душу, Господь,
и жизни не жалко, хоть жадности не обороть,
кто думать обучен, пусть думает думу за нас! —
но ты понимаешь однажды в отчаянный час:
мы были всегда в этом тёплом дрожащем мирке
рассветным лучом, оберегом на ветхом шнурке,
витком ДНК на кладбищенской старой кирке,
двуперстым, трёхпалым крестом
на замёрзшем курке.

Пришло Рождество — уж впотьмах прирастает народ,
и разума вспышка вселенский сожжёт водород,
ночные пространства и пустошей зимний бурьян:
нас ветер несёт, всем судьба нам — на остров Буян.
И там, где горит, продираясь сквозь камень, слюда,

и сорные стебли шипят, словно змеи: сюда! —
и ржавая даль, пополам с голограммой, седа,
ты вдруг понимаешь сквозь морок:
мы будем всегда.

ЧУЙСКИЙ ТРАКТ

мёртвый пейзаж под луною наш чёрный квадрат
снежной страной нефтяною гордимся мы брат
вышка пизанская башня чумной вавилон
речь наших верст бесшабашна — и всё о былом
вся как нетленная страта реймона кено
русское слово без мата — немое кино
смысла безмерного шире — воз золотаря
опохмеляются в мире три богатыря
русская троица тройка триумф тринадад
стойким борцам неустойка на грудь принимать
от сыктывкара до сочи архангел в огне
неба сиротские очи ночь даун в окне
вечный димитрий-царевич нам время творит
коли с утра не зарежешь — в ночь метеорит
долго ли околевати среди хиросим
сало в чужом шоколаде в душе керосин
Боже сквозь воздух морозный целься — верняк
в сиплой тоске тепловозной прёт товарняк
сумрачный огнеопасный на лбу письма
инок нездешних экспансий дитя харбина
наша не наша ли эра зачем же с тобой
вера нездешняя мера безмерная боль —
вдруг ниоткуда прольётся и вспыхнет ясна
словно Звезда из колодца
в канун Рождества

МЕРАНИ

РЕКВИЕМ В АНТИФОНАХ

*В память
о Николозе Бараташвили*

*Русским переводчикам «Мерани»,
ушедшим и ещё живым*

1

*«Сон мой тревожный — мчишь без дорог, верный Мерани,
Каркает ворон, злобный пророк, между мирами.
Рви же пространств мутную мглу в облачной ткани,
Ветру отдай чёрную грусть, вещей Мерани!..»*

*«Ветер надежды, юн и крылат — скачи, Мерани,
Ворон хрипит, пророчит ад: путь — перед нами.
Лети, чтоб сердце вновь распахнуть, не зная предела,
Бессмертный дух наш — бездомный путь смертного тела...»*

*«Друг мой, ровесник, в черную хмарь рвёшься, Мерани,
Ворон дорогу сглазит нам, тварь, сдаст нас охране.
Век не слышать ихних сирен тяжкого воя,
Тонет наш плен у этих стен в храпе конвоя...»*

**Под карканье судьбы, стремлением объятый,
Когда не счесть в пути ни бед, ни расстояний —
Скачи, мой дивный конь, надежды сон крылатый,
Бездомная мечта по имени Мерани!..**

2

*«Бури и хляби пересекая, одолевая скалы и бездны,
Тягостных странствий время сжимая
в жизни прекрасной, горькой и бедной,
Не опускай крыла перед горем, не уступай морозу и зною —
И не щади седока в этом беге над безотрадной сушей земною!..»*

*«В горло вцепилась тьма урагана, ждут нас, оскалась, бездны и скалы,
В миге полёта — век ожиданья: как по эпохам нас разметало!
Крылья надломит злое ненастье — знать, за мечту такая расплата,
К гриве бессильно всадник склонился — знать, ненадолго сердце ослабло...»*

*«Сердце погладят жёсткие пальцы, ржавые рельсы сказку расскажут,
Думал, взлетишь — и жизнь распахнется?
Только зевни — о камни размажет.
Крылья раскинешь — пулю заманишь, нет в мире правды, нет и не надо,
Выдохся беглый — конный ли, пеший: тропа на волю — дорога ада...»*

**Лети, презрев морей и скал смятенье злое,
Пусть путь длиною в жизнь — до мига сократится,
Не бойся ни судьбы, ни холода, ни зноя,
И твой седок с тобой, измученный, домчится.**

3

*«Родины больше я не увижу, лица друзей утрачу во мгле я,
Сладостноустой, сладкоречивой милой — я взор позабуду, жалея,
Ночь ли, рассвет ли — всё мне чужбина, утра дождусь
в могильном ковчеге,
Звёздам далёким жизнь открывая, всю, без утайки, значит — навеки...»*

*«Прежде же — с прежней жизнью проститься и потерять
ровесников милых,
Ту, чьё дыханье в лоне рассветном грело, забыть живущий не в силах,
Домом назвать безродную пустошь: с ночью ли встреча,
с утром свиданье —
С чуждыми звёздами горем делиться, благодарить их за молчанье...»*

*«Сколько здесь нас поцелуй промедола молча отправил в яму забвенья,
В сладкий побег, в сон без подъёма, без пробужденья, без сожаленья.
Мёртвая пустошь — имя детдому, память точили — как нас учили,
В форточке звёзды, всё — по-другому, а уходили — не различили...»*

**Пусть раньше суждено утратить дом, отчизну,
Родных и сверстников — и встать лицом к изменам,
К утратам привыкать, терпению учиться —
И небесам глухим шептать о сокровенном,**

*«Всё, что любил я, скроет волна пенная в гриве
И растворишь ты, дивный скакун, в вечном порыве,
Рви же пространств мутную мглу в облачной ткани,
Ветру отдай чёрную грусть, вещей Мерани!..»*

*«В зыби морской — трепет любви, сердца мерцанье
В выси твой бег — юный порыв к небу, Мерани! —
Лети, чтоб сердце вновь распахнуть, не зная предела:
Бессмертный дух наш — бездомный путь смертного тела...»*

*«Длинный разбег волны морской... Ты видел море?
Там чаек крик, там Божий лик, там нету горя,
Там не слышать здешних сирен тяжкого воя,
Тонет наш плен у этих стен в храпе конвоя...»*

**Отречься от любви, ни в чём не виноватой,
И пустоте дарить ненужное признание! —
Скачи, мой дивный конь, надежды сон крылатый,
Бездомная мечта по имени Мерани!..**

*«Пусть не найдётся страннику места с предками рядом лечь на кладбище,
Пусть не оплачет та, что любила, жаркие слёзы глаз не отыщут,
Серый стервятник выключет очи — и на пустынном мёртвом погосте
Ветры размечут прах безымянный, выбелит время бедные кости...»*

*«Что ж, коли так, пусть блудного сына не упокоят рядом с родными,
Пусть и подруга слёз не уронит — не о ком плакать станет отныне.
Мерзкие твари прах осквернят мой. Ветры, песок вонзая в глазницы,
Бросят меня во тьме безымянной ждать наступленья чуждой денницы...»*

*«Детство забылось, сердце забилося! — даже и в этом каждый обманут,
Если не выследили живого, то и в могиле шарить не станут,
Да и не выбьют скорбно железо свежей утраты имя на камне —
Только во сне родное подворье видеть придётся издалека мне...»*

**Бродяге места нет на родовом погосте,
Не слышит милой плач в чужой земле могила:
Где упаду с коня, сыграют птицы в кости
И, всё забыв, душа взлетит над всем, что жило.**

6

*«В мёртвом сиротстве слезы любимой — мутного неба стылая влага.
Родичи плачут? — нет, это птицы, хищная радость вышнего мрака.
Прянь, если можешь, дух мой крылатый, пересчитай судьбы нашей грани! —
Нас не сломали прежние беды — не прекращай полёта, Мерани!..»*

*«Не с кем проститься: слёзы любимой? — хмурых небес бездушные росы.
Блиских стенанья? — коршунов крики там, где безмолвно прячутся грозы.
Мчи, мой Мерани, ведь за пределом жизни и смерти, что мне открылся,
Не покорюсь я бедам грядущим — если доселе не покорился!..»*

*«Там факелами чадит наша зона, ливень кислотный жизнь заливает,
Там паханы цацки смывают, там вертухаи кружки сдвигают,
Птички поют вороньего цвета, вохра волыны чистит заранее.
Если уходишь — забудь про это! Не останавливайся, Мерани!..»*

**Взамен горячих слёз — холодных рос осадок,
Взамен молящихся — в пустынном небе птицы.
Не уставай, Мерани! — одинокий всадник,
Ни прежде, ни потом судьбе не покорится.**

7

*«Пусть я судьбою буду сражён, грудь укрывая —
Держостной веры не утрашит сталь роковая,
Рви же пространств мутную мглу в облачной ткани,
Ветру отдай чёрную грусть, вещей Мерани!..»*

*«Пусть нанесёт злая судьба молча удар свой —
Всё я приму, лишь прошепчу гибели: здравствуй!
Лети, чтоб сердце вновь распахнуть, не зная предела:
Бессмертный дух наш — бездомный путь смертного тела...»*

*...Судьбе назло время пришло на всё решиться:
Что суждено — пусть всё равно сразу свершится.
Беги, пока нам не слышать хриплой сирены,
Пока судьбу прячут в гробу старые стены!..»*

**Вопьётся в сердце сталь — мой рок, мой враг заклятый,
Но утратить меня — напрасное старанье,
Скачи, мой дивный конь, надежды сон крылатый,
Бездомная мечта по имени Мерани!..**

8

*«Ведь не впустую всё, чем мы жили, что потеряли, все упования —
А сохранить бы память надежды, жертвенный путь наш,
дух мой, Мерани? —
Новый искатель с пламенной верой вновь устремится в сумерки рока:
Пусть к нему будет всё же добрее эта судьбина — эта дорога...»*

*«Мы же не зря во мгле бездорожья верили звёздам, сил не жалели,
Нашим путём, ты слышишь, Мерани, ринется кто-то в пламени цели:
Зря ли провижу в нашей вселенной будущий свет и голос собрата,
Пусть же скакун, наследник дороги, скачет границей рая и ада!..»*

*«Да, мы на волю тропу торили —
путь ненадёжный, трудный, кровавый! —
Ты же, кто вслед нам в камере плакал, но не прельстился пулей и славой,
Пусть тебе встретится добрая фея, из земляники варенья наварит,
Утром разбудит, хлебом накормит, кровь отстирает,
паспорт подарит...».*

**Ведь всё-таки не зря душа на свет стремилась,
И мы открыли путь, и это нам зачтётся! —
Даруй, судьба, собрату огненную милость:
Пушкой его скакун в дороге не споткнётся.**

*«Сон мой тревожный — мчишь без дорог, верный Мерани,
 Каркает ворон, злобный пророк, между мирами.
 Рви же пространств мутную мглу в облачной ткани,
 Ветру отдай чёрную грусть, вещей Мерани!...»*

*«Ветер надежды, юн и крылат, скачи, Мерани,
 Ворон хрипит, пророчит ад — путь перед нами
 Лети, чтоб сердце вновь распахнуть, не зная предела:
 Бессмертный дух наш — бездомный путь смертного тела...»*

*«Друг мой, ровесник, в чёрную хмарь рвёшься, Мерани,
 Ворон дорогу сглазит нам, тварь — сдаст нас охране.
 Век не слышать ихних сирен тяжкого воя,
 Тонет наш плен у этих стен в храпе конвоя...»*

**Под карканье судьбы, стремлением объятый,
 Когда не счесть в пути ни бед, ни расстояний —
 Скачи, мой дивный конь, надежды сон крылатый,
 Бездомная мечта по имени Мерани!..**

ТЮРКСКОЕ СЛОВО

ДИВАН ЛУГАТ АТ-ТУРК

Из Махмуда Хуссейна аль Кашгари (Барскани)

I

БИТВА С ТАНГУТАМИ

Властитель Катуня с тангутским беком
Сошлись — и, красным подобна рекам,
Струится кровь по щекам и векам,
Как жаркое пламя, дымясь.

Друг с другом сшибаясь с силой упругой,
Спорят блеском копье с кольчугой,
И в ножны входит меч с натугой,
Ибо кровь на нём запеклась.

А дальше — ряды сошлись с рядами,
Иные расстались легко с головами —
Но меч тяжело расстается с ножнами,
Ибо кровь на нём запеклась!

Тангут в свирепости беспредельной
Катунцу нанёс удар смертельный —
И тот, под родичей плач бесцельный,
Склонился, бледнея, к седлу,

Но — прынул, ускользя от взгляда,
Возник внезапно, как джинн из ада,
И — воля Тенгри ему награда! —
Опрокинул врага во мглу!...

В тот день тангутов мы растоптали,
Их дев бесчестили, жён ласкали,
Рабов и коней себе отыскали —
Каждый добыче рад.

Раны бека тангутов лишили воли,
Его люди скорчились, как от боли,
Словно смерть сама в скорбной юдоли
Влила в уста ему яд,

Словно в раны его вонзила секиру.
Моим воинам — битва подобна пиру,
Свою силу мы показали миру,
Ломая вражьи хребты.

Помню, крикнул с холма, людей собирая,
Зазвенела моя тетива боевая —
Мы ринулись в бой, на скаку стреляя,
И попрятался враг в кусты!

Издалека они к нам собирались,
Кичливо силою похвалялись —
Теперь в испуге обратно помчались,
Ища свой далёкий дом.

Вслед мой конь летел, под камчой изнывая,
Я врага настиг, на бой призывая.
С чёрной тучей — внезапная, грозовая
Ночь пришла с ледяным дождём.

Я проснулся в полночь. На звёзд осколки
Чёрные и красные выли волки.
Лук и стрелы завидев на конской холке,
Звери бросились за холмы.

Вновь летел я за ними, за всеми скопом,
По незримым ночным, бесконечным тропам,
Армак мой, храпя, скакал галопом,
Волк навстречу мне прыгнул из тьмы.

Мой охотничий пёс его сшиб, сцепился,
Горло рвал ему, шерстью его давился,
Добирался до жилы его, торопился,
В ярости загрыз жоака.

Злобной ночью измучен, стою на склоне,
Считаю звёзды в небесном лоне,
В небесах Плеяды летят, как кони,
Но заря ещё далека.

Ночь, уходя, мне смотрит в спину.
Рассвело. Я взошёл на вершину,
Вижу — чёрная мгла застилает долину,
Вражьих войск испуганная река.

Пожелай я битвы с тангутским ханом,
Он бы пал давно уже бездыханным,
С головой, отрубленной ятаганом.
Но взмолился он: пощади!..

Попросил принять за своё спасенье
Всё своё имущество, все владенья.
Пусть богатства станут ничтожной тенью —
Пораженья грусть впереди...

Я подъехал. Все, склонившись, молчали.
Бек сидел потупленный — и в печали
Его воины предо мною пали,
Униженьем удручены.

Я был милостив — дал ему свободу,
Выкуп велел доставить к восходу.
Что теперь своему он скажет народу
Под грузом такой вины?..

Х

Повинен передо мной — мои оскорбленья сноси:
Прячься от стрел моих и снисхожденья проси,
Ибо ты прежде гнушался молить о пощаде:
Кровью своею, мой враг, землю мою ороси!..

XI

Благородную руку мою укололо зелёной стрелой —
Над бегущим потоком камыш взметнулся зелёной стеной...

XII

Щедростью одари! —
Пусть щедрым зовут меня,
Пусть в брани звенит броня —
Дай для битвы коня!..

XIII

НА СМЕРТЬ АФРАСИАБА

Неужто воин великий скончался,
А полный скверны мир остался,
Чтоб местью рока измерялся
Путь, о котором душа болит?

Неужто время зло затаило,
Петлёю безвинного задушило,
С пути его, беззащитного, сбило:
Судьбы и мести не избежит!

Отмерен путь людской к могиле,
Что толку в нашей ничтожной силе,
Мир этот памяти о нас лишили —
Не вспомнят о тех, кто забыт!

Судьба никому ничего не прощает,
Всех без разбора в прах стирает:
Если мир в нас стрелу пускает —
Рушась, гора дрожит.

Когда судьба из лука стреляет,
Гора ей грудь свою подставляет:
Не спрятаться, коль стрелу направляет
Владычица побед и обид...

Беки коней своих загнали,
Лица, шафрановые от печали,
Подняли горько к небесной дали,
Где Предвечный всё о нас зрит.

Мужи от горя завывают,
Одежды на себе разрывают,
Как в песне, их голоса зывают,
Взлетая от каменных плит.

Сердце моё эти дни разбили,
Душу горем разбередили:
Время, о коем мы не забыли,
Занозой в сердце саднит.

Время становится злей и хуже:
Души чернее, чем мир снаружи,
Больно сердцу от чёрной стужи —
Об ушедшем оно скорбит.

Мудрые — в горе и униженье:
Души напрасное сожаленье —
Добро, ничтожный трофей в сраженье,
Прах, что в прахе сокрыт.

Добро становится всё слабее,
Плачет душа — и мир вместе с нею,
Больно сердцу от суховея —
Об утрате оно скорбит.

XX

Изменчива луна её лица,
И странен странствующий взор,
В нём тонут алчные сердца
Глупца, героя, мудреца.

Как ты прийти решилась, — я спросил, —
В наш мир, затерянный во мгле,
В мир, что к добру давно остыл! —
Где обрела ты столько сил?

Сердца, взывающие о любви, —
Ответила, — в пути хранят,
И размягчается гранит
Земных мучений и преград!..

XXIII

Ты, чья родинка — крупинка чёрной соли,
Чьи глаза хранят надежду ль, колдовство ли, —
Подари всего одно словечко мне —
И узнаешь правду о любви и боли...

XXIV

Шальная стрела в полёте
Берёт меня в полон,
Я полон целью далёкой —
В твоём зрачке растворён.

Лицо твоё — ожерелье
Песен и тишины,
Горящий можжевелник
На щеке у луны...

XXVIII

Обманула тебя эта дева, стройна, словно ива.
Можжевательник кудрей её — сказочнее водопада!..
Тебя дьявол увлѣк обещаньем запретного дива,
Ты поверил, безумец, — и станешь заложником ада.

XXIX

Мелодии уже звучат,
Слова в них с музыкою в лад,
Кувшины выстроились в ряд —
Приди в мой сад!..

От счастья кружится земля,
В кувшинах с горлом журавля
Вино поѣт, нас веселя.
Приди в мой сад!..

Судьбу мне взглядом напророчь,
Чтобы печаль бежала прочь,
Чтобы нас двоих манила ночь
В огне услад!..

Пусть, голосисты, как скворцы,
Гордясь вниманием, юнцы
Во все концы, презрев дворцы,
Верхом летят!..

Пусть, как за грозною грозой,
Вслед за распластанной борзой
Взлетает всадник над лозой —
Лишь вспыхнет взгляд! —

Пусть сокол режет небеса,
Пусть молча прячется лиса,
Пусть дни счастливые летят:
Приди в мой сад!..

XXXV

СПОР ЗИМЫ С ЛЕТОМ?

(отрывок)

Сразились Лето с Зимой, глаза налиты враждой, —
Сошлись для схватки лихой, оба победы хотят.

Схватились Лето с Зимой — так лук натянут тугой,
Грозящий острой стрелой: стрелы, как беды, летят.

И шепчет Лету Зима: *«Я злость и силу взяла —
И все людские дела сильны, как конь без седла!»*

*Мои слепые снега растят большие хлеба
И утомляют врага — моя прекрасна судьба!*

*Мух, змей приносит с собой твой одурающий зной:
Во всякой твари земной твоя ужасна судьба!»*

*«Не лги! — ей Лето в ответ: — Лишь ледяной твой рассвет
Мир озарит — и дня нет, и только холод и ад!»*

*Тёплые дни далеки, измучились бедняки,
Огонь не греет руки — снежные бури гремят!*

*Их голос грозный могуч, ужасен лик чёрных туч,
И солнца слабенький луч они упрятают хотят!..»*

XXIX

О, ты, что прячешь с постоянством вора
Свою любовь, — ответь, не пряча глаз:
Когда придет разлуки чёрный час,
Что горше обворованного взора?..

XXXVIII

Течёт просторная Итиль-река.
Над нею — времени летит река.
Рыбак двух рек — всего лишь раб двух рук.
Он только воду замутил, река!

XXXIX

Наш мир рождён из перечня пустот.
Вращается тяжёлый небосвод —
И звёздная горит на нём скрижаль.
Окутан ночью день.

Когда тревожит душу странный зов
Из древнего созвездия Весов,
Глаза свои ты опусти к земле.
День ночью окружён.

Красный скакун промчался по земле,
Красный огонь он высек на земле! —
Сухая, рыжая — горит трава.
Охвачен ночью день.

XL

Вонзились в ущелье потоки светлой бурливой воды!
Там заросли можжевельника коню достают до узды,
Там трав, разбуженных солнцем, стоит ликующий чад,
Охрипшие от свободы — там дикие птицы кричат...

LIV

Летом — жди зиму: как дней беспечальное племя,
Таёт незримо в душе беспощадное время.

...НО СЛЕПКИ ДУШ
И СИЛУЭТЫ ЛЕТ



РЕКА АЛАМЕДИН ВОЗЛЕ СТАРОГО АВТОВОКЗАЛА

В высохшем каменном русле вместиться
может судьба Ахеронта и Стикса,
столько прошло
тень по жалким мосткам, наведённым
над сокрушительным каменным лоном
прожитых дней.
Эта река, пронизавшая город,
пала дождём и попала за ворот.
Было светло
в детстве входить между мусорных свалок
в город, что горд был и всё-таки жалок
в снечи своей.
Шагом — по прежней, безбрежной, булыжной
(кто б предсказал, что почувствуешь: лишней!)
той мостовой,
что прозывалась сперва Караванной,
позже — иной, ну а в дымке туманной
как её впредь
переименуют, переименуют?
Минет нас чаша и годы минуют,
где мы с тобой,
друг мой, учились толкаться плечами,
пили вино под карагачами,
тщились успеть.
Годы сменялись, не тронув окраин.
Спутник стрельнул. Отстрелялся Гагарин,
помер Хрущев.
Померли те, что сшибали Хрущева.
Образовалась в предгорье трущоба.
Стронулся век.
Выдохлись Кубы и чёрные страны.
Первый Афган и иные афганы
скроет покров
нашего подлого менталитета.
Ну и т.д. Что ты скажешь на это
первой из рек?..

Сблизились выси и сузились дали.
Всюду успели, везде опоздали
те, кто рождён
так, что попал в промежуток меж боен:
этим одним уже будь успокоен,
цел-невредим.
Не расстреляли нас — значит, мы живы?
Живы?! Не знаю. Лодчонку под ивы
гонит Харон.
Ставит мостки дядя Вася, калека.
Пятидесятые. Многая Лета.
Аламедин...

АТА YURT

Над синим Босфором, недоступным, как полицейский,
опускается вечер — и тоже какой-то синий
Ак-Сарай отдан Стамбулом по негласной лицензии
курдам и мешочникам Новой России.
Капалу Чаши полон славянских звуков,
славянских знаков — всё выглядит, в целом, невинно,
деды наших дедов смотрят на внуков своих внуков,
но самих славян — новый год! — нынче не видно.
Акведук, поилище древних римлян,
и внутри перевернутый лик Горгоны
напоминают, что время проходит крыльям
и новостям сопутствуют лишь погоны.
Красные фонари и золотистые звёзды
лучше красных звёзд с золотыми фонарями,
но не тешат душу изумрудные вёрсты
в синей доисторической панораме.
Забавно исчислять своих вероятных предков —
тех, что прыгали в море от краснозадых шашек,
что умирали здесь, в добровольных клетках,
с тем, чтоб турки теперь завозили наташек.
Кто я здесь с украинско-русскою кровью,
чей зов неощутим, но тих и долог,
крест воздвигоша на азийскую кровлю —
не варяг, не грек, но при том — тюрколог...
Тюрки «Ата Юрт» говорят о Семиречье,
в аэропорту «Манас» публично целуют почву.
Я далёк от сих демонстраций: встреча
с родиной — когда есть, откуда ждать почту.
Ехал грека самолётом через реку,
да не сосчитал её всех потоков.
Всё дальше родина моих предков,
всё ближе родина моих потомков.
Ах, любовь с горчинкой, печаль на просторе! —
кому повем грусть сию, да и кто ж её измерит?
И если крикну, что никогда, мол, не был на Босфоре,
к сожаленью, теперь мне хрен кто поверит...

12.12.12

Уводит лань за собою лихого стрелка
На гиблый обрыв качнувшегося мирка,
И молча молит скала о смертной стреле,
И кровь высыхает у жала на острие,

И сука, скуля, уносит щенка от норы,
И молча волчьи обрушиваются миры,
И не уйти от пожара, кишки волоча,
Через флажки державы несытого палача,

И плачут млечный агнец и серый брат
У самых светлых, у запертых райских врат,
И плачут все дети, и плач их ясен, как смех,
Обо всех закатах, о звездопадах всех,

И серый ветер таится у млечных высот,
И облако слёз до Бога он донесёт,
И тот всё услышит, поскольку сам из сирот —
И всё-то Он знает, бедняга, всё наперёд...

ИЗ ЖИЗНИ РОБОТОВ

жаворонок точка счастья в прицеле небес
тягостный трактор на плоскости мира земного
оба недвижимы как жертвы апорий зенона
оба безмолвны судьбу исполняя на бис
над тишиной воспаряет крылатая трель
в такт ей мотор переполнился силой солярной
песня всё та же зане неизменны слова в ней
чей-то июль посягнувший на чей-то апрель
только меняется бедная лиц череда
лишь безымянные сны осчастливленных кукол
встретит бестрепетно мира немеркнувший купол
птаху и трактор святая омоет вода
Бог пожалеет но разум на смыслы прольёт
прянет секунд хоровод в безысходности мечась
жаворонок проклянёт беспредметную вечность
трактор хрипя о железной джульетте споёт

ХОХЛАЦКАЯ БАЛЛАДА

Вот гарцует на пригорке — девки, закрывайте шторы! —
дядя — Митька-егоза:
с детства доставалось порки, но усы всегда в махорке,
в серой ярости глаза!

Был он прасолом и волком, жизни вкус изведаль с толком,
и не покидал седла,
пялились донцы-соседи: уродится ж чёрт на свете! —
на горячего хохла.

В прошлой жизни бесталанной был у деда конь буланый —
царский поезд обгонял:
дед нашёл себе шараду — двинул покорять Канаду,
сотнику коня загнал.

Переполошил округу сын-малец — украл зверюгу,
в гриву утыкая нос,
жеребца в степи запрягал, но — нашли, и он заплакал.
Так мой милый дядька рос...

Только вспомню слёз и смеха нескончаемое эхо —
всё, что рассказал отец —
ненависти или мести рад я больше, чем невесте,
хоть всему пришёл конец.

Под звездой скорпиона, поумерь-ка скорбь, Иона,
тормозни свово кита:
то ли ноет ретивое, то ли воет рулевое,
то ли силушка не та.

Голь, кацапы, тавричане, греки, персы, молокане —
накипь русского котла,
пахнет язвой моровою да войною мировою,
бьют плеча и жгут дотла.

То сангвиник, то холерик, дядька не искал америк,
он другой рванул стоп-кран:

золотые вшил десятки в шубы старые заплатки,
молча канул в Туркестан.

Но до этого — собаки! — ранен был в нечестной драке,
отлежался на печи,
зиму бабушка лечила, от болезни отлучила,
но от мести — отучи!..

О, змеиная улыбка, шаповаловская сшибка:
сдохни, но сочтись во всём! —
кровью лёгкие заполнил, но дружка того запомнил
и всех прочих, кто при нём...

Наступило время свадеб — улицу меж усадеб
прёт обидчик, пьян слегка.
Дядька мой в бекеше длинной у ворот стоит с дубиной,
взором нежит облака.

Вот шеренга женихова, вот невестина обнова —
под весёлую гармонь
тяжко хрустнула дубина, замертво упал вражина,
дядька же — побрёл домой.

Раз кого, уж вы поверьте, он убил (пусть не до смерти —
но потом не жизнь была),
дядьке каторга светила, но маленько подфартило:
революция пришла.

Кровью мытые закаты, краснозадые мандаты,
тиф, колхозы, голод, мрак...
Вспомнить — и опохмелиться, хоть он и поныне длится,
отчей пажити бардак.

И бегут от половодья — всё кулацкие отродья,
дед мой, родичей толпа:
от Медведицы и Дона, от поруганного дома,
век не кончится тропа —

за горами, за долами, за калмыцкими степями,
за печальной Сыр-Дарьёй,
где страшны и мохногруды прокажённые верблюды,
а душа полна зарёй...

Я там жил — какое диво, по усам текли мёд-пиво:
чашу там до дна испил.
Там отцу божился: «Тату! Буду с краю ставить хату!»
Но поклялся — и забыл...

Так и дядька, хоть не ссыльный, жизнь свою рукою сильной
повернул — не ожидал,
с той поры, как бил дубиной, больше родины любимой
он до смерти не видал.

Прожил век, поторопился и с родными не простился,
сжал обиду в кулаке —
отошёл в степи казахской, то ли гуннской, то ли сакской,
в собственном особняке.

Кончились его химеры: мне в глаза, на гребне эры
все, на фото вставши в ряд,
и укоры, и примеры — пламенные офицеры,
братья старшие глядят...

В топоры я не рубился — но у дядьки научился
не чураться всех голгоф,
как последняя паскуда. И — не умирать, покуда
всех не отплатил долгов!

Смертный миг и запах гари — всё вернул бы каждой твари:
видно, не дано простить.
Что ж, коли сложилось плохо и твой враг — сама эпоха,
надо жить. И этим — мстить.

НЕУСЛЫШАННАЯ ЮНОСТЬ НАША...

*Фрунзенским поэтам
прошлого столетия*

Жизнь назад зачем-то жизнь свела нас, чтоб затем по весям разбросать, Толя, Женя, Саша и Светлана, звонкие сердца и голоса. Позабыто столько незабудок и в могиле столько бытия! — в память переплавится рассудок, вновь на круги обратясь своя. И на берегах у местной Леты дрогнут, словно книжные листы, милые истлевшие скелеты, юные и гордые черты. Отзвук буколической латыни в сердце, как игла, на полчаса — лишь взвоятся ваши молодые, вечно золотые голоса. Неуслышанная юность наша, что река с собою унесла. Круговая рыцарская чаша серого гранёного стекла. Дней непоправимое скольженье. Давних звёздных вспышек календарь. Лёгкая листва стихосложенья. Ничего не помнящая даль. Всё, что будет нового под небом, ни тепла, ни силы не придаст, памяти и нежностью, и гневом уходя навек из наших глаз.

ЭЛЕГИЯ

На лету умирает комар, прозевавший летнюю пору,
паутина летит над страной обветшалых крон,
кобыла, не зная зачем, поднимается медленно в гору,
взрывчатка сама собою прячется в старый схрон,
обыденную интригу время вновь затевает
с временами года, толпящимися у дверей,
детским голосом смерть пионерский куплет запекает
под отеческим взглядом дремлющих концлагерей.

МОИ БАБУШКИ

вот украинская бабушка с клюкою баба яга
от вороного взора сужаются берега
вот рядом русская бабушка с ромашковым тихим лицом
вот я усажен меж ними усмевающимся отцом
то ли пятьдесят пятый то ли какой иной
все поминают фрицев всё дышит ещё войной

кохай ты их боже милостивий зараз яки ж це враги
о божечка ты ж мий сладкий коли ж вони были други
свахо як сердце стынеть чого ж це за время блять
та де ж вин внучок славичок чи ж бисы його смолять
чи знову циганска царапа удрав як зийшов з ума
колы ж вин прийде до хаты вже ничь а його чортма

с картинками града-китежа я знаю сравнения нет
карижская авдотья никитична
прожила сто лет
мерещится мефистофель свеча с испугу горит
когда отуреченный профиль моя бабушка миру дарит
седая карга черноглазая мама отца моего
анатолийская азия преисподнее торжество
в германскую да атаманскую детей от сумы берегла
когда судьба в америку деда кузьму занесла
с чаем любила сушки заначку достав из сумы
на каркающем суржике русской сватье пела псалмы
из уважения к русской ломая мову ридну
бо ванька женивсь на москальке але сваху кохаю одну

а та как тревожная птичка присядет легко на скамью
и слушает еретичку православную сватью свою
селиванова василиса егоровна
кержацкая тихая кровь
состарившаяся горлинка невыплаканная любовь
крохотная синеокая оглохла среди войны
где два её тихих сына были погребены
её почитали матушкой псалтырь читала она
всю ночь перед Божьим ликом порой вздыхала она

ей все людские помыслы Господь заповедал знать
смертных благословляла рождаться и помирать
в глухие года беспоповства безбожия большевиков
подкармливала бродяжек излечивала дураков
всех знала она всех помнила тихо молясь в уголке
и беглые старoverы припадали к её руке

— *о господи-батюшка вот он явился в доме лиходеёй
в грязи и рубаха порвана и всё не как у людей*

— *бачь свахо пидби́лы око це хто ж його ото так*

— *христос с тобой вымой морду-то да приложи пятак
придут мать с отцом с работы ан вот бесчинный варнак*

бабкам я Отче наш читаю аз буки веди и рцы
гляжу поползли из карманов столетние леденцы

у них на двоих одна прялка
одна у них нить времён
молитвы разноязыкие звучат у них в унисон
прижались они друг к другу живые среди сонма смертей
за всех они молят Господа чужих безгрешных детей
очи полны покоя души у них ясны
обе они вознесутся такие там и нужны
свет под тёмною кроной скрытого в чаще скита
свет перед ясной иконой слёзы высушит высота

возлюбил Господь моих бабушек ещё бы таких не любить
а куда ему блин деваться с кем же поговорить
все к нему ломятся рвутся алчной толпою бредут
а бабушки его приласкают
и леденцов дадут

ЭСКИЗ НА ЗАСЕДАНИИ УЧЁНОГО СОВЕТА

...Тонко вылепленные из воска
вспугнуто-недвижные черты
спящего японского подростка
в облаке мечты и нищеты,
женский взор —
невнятный шёпот листьев,
прясть отводит тонкою рукой,
пряча
в медленном изгибе кисти
тяжесть страсти,
негу
и покой.

СТАРЫЙ БУЛЬВАР ДЗЕРЖИНСКОГО

Как нечаянно тает снежинка
И душа её в небо взлетает!
Как давно умирает Дзержинка,
В облаках потускневших витает...
Двадцать лет, как не стало Медера.
В старом доме взгрустнули стропила,
Наступила хреновая эра,
Но она не вчера наступила.
Ах, какие же были ребята! —
Утекает сквозь пальцы тропинка
Без Комека, Жука и Марата —
И с ветвей опадает Дзержинка.
Меж дубов и нечаянных сосен
У чугунных копыт командарма,
Поколения пропылесосив,
А о прочем забыв и подавно,
Надвигается мерное время —
И кому-то отсчёт одинаков
И встречается ветхое племя
В тёмных скверах у мусорных баков.
Только кто же ответит за вызов,
Яви нет, а одни сновиденья:
Юных графов и стройных маркизов
Дотлевают забвенные тени.
Как легки и талантливы были
Эти местные дети арбата,
Беззаботно любили и пили.
Час восхода — и море заката...
Что ж, история здесь побывала,
Ярких глаз ни на миг не состарив,
В колокольном разлете бульвара
Голоса наших птиц не оставив,
Время стало пошлее и плоше,
Пусть кому-то от этого лучше,
Только где вы, Ероши, и Коши,
И Серёжи — веселые души?..

* * *

Люке

...ты прежняя была
как стая птиц
они в бровях и пальцах трепетали
и губы улыбаясь улетали
под слабость обещания ресниц
вокруг был дождь
он так всемирно лил
и листья у деревьев
тяжелели
и гнулись до заплаканной земли
была трава весенним сожаленьем
смеясь в слезах и навсегда в дожде
заплаканным отчаянным счастливым
был долгий день
кричало всё везде
о вечном лете радостном и длинном
о вечном отражении в воде
ты не умрёшь
похожая на сон
где ласка вдох прикосновенье возглас
порыва жаркий обнажённый воздух
и замиранья губ неясный звон
когда на локте приподнявшись
шепчут
и мокрый сад врывается в окно
и чья-то ветка обнимает плечи
и листья пахнут небом и водой
ты не умрёшь все что придёт потом
слепым дождём и солнцем пронзено в нас
и юность нескончаема уж в том
что в ней разлуки горькая виновность
среди дождя
в серебряном плену
звнящих капель
в куполе апреля
на нас деревья сумрачно смотрели

и беззаботно пили мы весну
дождь солнце явь на миг смешались слепо
счастливо плачуще вздох навзрыд
ты помнишь
нас пронизывало небо
лишь небо наш тогдашний реквизит
и долгий день
весна на грани лета
и жадных губ горячие огни
и кто мог знать что это был край света
скупой судьбой отсчитанные дни
ты
первая
была как стая птиц...

АЛАМЕДИНСКИЙ РОМАНС

белый камень с аркой зелёной бег мгновений неуследим
мы ли это во тьме бессонной над рекою Аламедин
наши тени волной смывает
не исчезни
возврата нет
не спасут нас воспоминанья дней где нам по семнадцать лет
круг земной да ущербный месяц но река уходит туда
где за краем Небесных Медведиц светом северным стынет звезда
ночь к костру протянула руки
как тревожно как высоко двум сердцам в этом звёздном круге
до утра ещё далеко
над ущельем озябнет небо будут губы твои смуглы
и костёр будет пахнуть хлебом в чёрной мгле арчовой смолы
всё пройдет
нас разбудит ветер и бездомный гул голубой
будет август высок и светел
и состаримся мы с тобой

ИОВ

...упаду на дальнем поле от дороги за версту
изойду сквозною болью в хлебный колос прорасту
прорасту и встану прямо и откроюсь небесам
что жива на свете

мама

где и как не знаю сам
от ареста до пожара до сиротского житья
безразличная держава география моя
мягкий свет восьмого класса липнет комарьё к лицу
я бреду где будет трасса на свидание к отцу
для обиженных больница для оболганных тюрьма
поневоле не приснится но во сне сведёт с ума
не в мечтах о доле сладкой от предчувствия дрожа
бабушку я плащ-палаткой укрываю от дождя
из тюрьмы отец вернётся мать в больнице я найду
но черна вода колодца лица милых как в аду
мама бедная в палате я на воле наяву
не тоскую о расплате проживу переживу
и потерями колеблем помня прежнее своё
попрошу у неба хлебом стать
судьбою стать её

...было это всё далече в шестьдесят втором году
мы ещё вздохнём полегче в нашем маленьком саду
вновь потом всё потеряем отшатнутся дни назад
снова вспыхнут в сердце краем ветхий дом и старый сад
в отчем доме в общей доле колос держит всё равно
на протянутой ладони
материнское зерно

ЧАША

...Тогда я в недоле отца хоронил,
и сын у оконца меня сторожил
в больничной палате, и в чёрную даль
вошёл, не стучась, високосный февраль,
и ширилась мгла, пожирая сердца,
и всё, что явилось во имя Отца
и Сына,
сдержать не хотел и не смог —
и вздох мой услышал рождественский смог:
сегодня я полную чашу испил.

...От вздоха колеблется пламя свечи —
и слышу ответ: в чаше дна не ищи,
хлеб-соль и вино стоят на столе,
не всех дорогих отдал ты земле,
горюй, что тут скажешь — успеешь допить
глоток расставанья, чтоб после — забыть,
на самом последнем краю бытия
узришь пустоту:
это — Чаша твоя.

...Так что же, помянем, поманим судьбу
над камнем, идущим к иному Суду,
где немо сквозь небо летят облака,
где отрок рожденьем простит старика.
Дед смотрит на внука, а сын — на отца,
не видно, не видно, не видно лица,
по разные стороны вечной стены
друг другу неслышные мысли слышны,
и клонится чаша в далекую мглу,
и льётся огонь по людскому столу.

НЕОТПРАВЛЕННЫЕ ПИСЬМА

...Не для праздников, не для сеч —
но кого же укрыть от булата,
за кого мне костями полечь? —
дай мне брата!
Смена лет — пустота в горсти,
всем — врата, только нет возврата.
Брата дай от смерти спасти,
дай мне брата.
Чтоб росли с ним — одни вдвоём,
мир делили,
общей крови одним огнём
ненавидели и любили,
чтобы солнце мне застил брат,
как и я ему — злобы проба,
чтобы в скважину райских врат,
в ад — но оба,
чтобы нож на меня точил,
пусть хоть Каин,
медью сердца и сталью жил
чтоб со мной был до смерти спаян!
В одиночестве провожать
до могилы
уходящих отца и мать
где без брата возьму я силы?
Дай мне сердца второго стук! —
за одно не болел когда-то.
Пресен враг мне и тесен друг,
дай мне — брата.
Нет ни ненависти, ни любви
в мире выхода — что за плата!
Дай же, Боже, не погуби,
дай мне брата!

...Юность в пику календарю
упокоена небом.
Дал Ты сына. Благодарю.

Брата — не дал.
Что творил Ты, зачем мне лгал
знаю — ведал:
сына дал — и отца забрал.
Брата — не дал.

* * *

Скрижали сотрутся.
И гордые годы о морок запнутся,
а губы ещё улыбнутся,
не ведая:
рушится дом.
Что ж, медиумы, уйдём? —
бред, прошлое, блюдо, ледок со стеклом...

Но если когда-нибудь слёзы прорвутся —
то лишь о былом.

ДВОЙНЯШКИ

Сакский крым. Домики немецкие.
Братья Гримм. Сёстры Каменецкие.

Белый бант. Школьницы советские.
Ницше. Кант. Сёстры Каменецкие.

Залпы — пли! — университетские:
Вы-рос-ли сёстры Каменецкие.

Юный строй, корпуса кадетские —
Век-герой, сёстры Каменецкие.

Гулко мчат вёрсты молодецкие —
Дым и чад, сёстры Каменецкие.

За окном — пляски половецкие.
Мир вверх дном, сёстры Каменецкие.

Пой, якут, эпосы ненецкие! —
Пишут труд сёстры Каменецкие.

Гибель! Бред! Головы стрелецкие,
Русский бренд — сёстры Каменецкие.

Век — ушёл. Дни — орехи грецкие:
Щёлк да щёлк, сёстры Каменецкие.

Даль мертва. Кодлы люберецкие.
Брат. Брат-2. Сёстры Каменецкие.

Лёг Бейрут в рельсы павелецкие:
Берег крут, сёстры Каменецкие.

Дух и плоть, дочки неотецкие —
Глянь, Господь: сёстры Каменецкие.

Лей-налей — льются слёзы детские:
Ве-се-лей, сёстры Каменецкие!..

28 ОКТЯБРЯ 1967

Шлагбаум поднят октябрю
и утро к горлу подступает,
листва в полёте засыпает,
покорная календарю.
Мой город в сетке дождевой,
свисает с пасмурных балконов —
под игом птичьих перегонов
замёрзший, мокрый, неживой.
И лишь впотьмах в толпе примет —
осколки золотого цвета,
слепые отголоски лета...
Мой день рожденья.
Двадцать лет.
Ни слова вдоль пустых высот,
ни птицы в середине неба.
Несет девчонка булку хлеба
и светит в дождь её висок.

* * *

В Париже, в несусветном марте,
короткий коротая век,
считает звёзды на Монмартре
беспутный граф Тулуз-Лотрек.
Он трость купил у антиквара
с бутылью хитрою внутри —
смеется, пробку открывая:
— Я пьян задолго до зари!..

Прямей луча пути кривые,
светил таинственная связь.
Помесья бросив родовые,
он жив, в борделе поселяясь,
амбре конюшни и прогресса,
как он, не ведает никто,
лишь грешный ангел, клоунесса
под куполами шапито.

Душа ужасного Лотрека,
как некий джинн, заключена
внутри житейской лотереи —
в сосуде красного вина.
Над ним небесный облак вышит,
от коего пророк зачах,
геенна огненная дышит
в его улыбчивых очах.

На жёлтом зареве Лотрека,
уроненные на холсты,
мне молча видятся от века
его погибшие черты.
Жизнь провожая, точно гостью,
что слишком заждалась такси,
и я взмахну вот так же тростью
впотьмах веселья и тоски.

ВСТРЕЧА

вслед за скорбной молвой
ни о чём не спрашивая
тёмным ликом светлея в распаде годов
сокровенною поступью ксения некрасова
всё минует заставы больших городов
мы встречали во тьме эти тени заснеженные
на изломах проспектов в просветах полей
их слепые глаза с отрешённою нежностью
проводжали года как толпу журавлей
одинокое небо начертано начерно
звонкий возглас обломит сосульку — и звон
серебристой утратой час обозначивая
ксения! — молча кричит перекрёсткам времён
сколько слов виноватых об этом ни сказано
виноватыми кажутся только — слова
среди горькой изначницы ксения некрасова
все читает рассветы светла и слаба
неуслышанной — ей не уютиться над осенью
но продлится над осенью ласковый вздох
под родимой брусчаткой историей тёсаной
оскорблённо-обугленный жив скоморох
серый ветер и дождь
а над ними всесильная
и вселюбящая — светит странствий звезда
и с усталой улыбкой некрасова ксения
видит солнечный сон уносясь в никуда

КАИНОВА ПЕЧАТЬ

Камень с межзвёздных окраин замер в витринном окне.
Сторож ворчит ему: «Каин!» — эхо молчит в тишине.
Шрамы вселенских окалин, зла обожжённая плоть.
Камня по имени Каин запросто — не расколоть.
Хаоса старый подранок, щерится: вы — это мы! —
царственный братский подарок братоубийственной тьмы.
Не покорён, неприкаян, памятный пламень и лёд,
камень по имени Каин,
Взрыва Большого оплот.

А на стекле, как над бездной — рюмки, бутылка и хлеб,
некий пунктир бестелесный, дорог, мгновенен, нелеп:
нас уже завтра не будет — призрачен радостный кров,
горсть лихорадочных судеб и муравьиных миров.
Неугасимая сила, непререкаемость зла
свергла тебя, уронила, нас ли к тебе вознесла? —
выпей, воробышек, с нами, вечности бедная тварь! —
мы постигаем и сами муки вселенской букварь,
неощутимое бремя, бесчеловечную высь
там, где пространство и время в схватке смертельной слились.

Смертная доля благая повелевает молчать,
молча на нас налагая каинову печать.

КИРГИЗИЯ, КУКУРУЗНЫЙ ХРИСТОС

«О теле электрическом я пою!..»

Уолт Уитмен, Рэй Бредбери

Неистовый крик в переулках из роз
и чёрным вином беременных лоз,
где селился местный орус:
— Жжяrr-ный Кокурус!
— Жжяrr-ный Кокурус!

В зените лета являлся Христос:
огромный курджун на смуглом плече,
зрачок горит в золотом луче,
воды, земли и солнца союз,
промеж робертин и прочих каруз —
Нагорной проповеди груз:
— Жжяrr-ный Кокурус!..

Одинокий гребец в одиноком челне,
черноликий бродяга в красной чалме,
дымный Хорог, отчий порог,
о чем возвещает пророк
оттуда, где никто не бывал,
с неистовым светом в смятенном уме,
где льдов переплавленный перевал,
чей след по памирам путь прорывал,
извилистый, как макраме,
узбек ва таджик, верблюжий кадык,
ва-алейкуму-ассалам
с одышкою пополам! —
во дни сомнений гремит сквозь ад
бездомный имперский язык,
блещет стёганый рваный халат,
в курджуне — яблоневого сад
от плоти тандыра, что так нежна,
цветок кукурузного зерна,
тронутый тленом забытых лет
урюковый цвет,
огня поцелуй, чёрно-белая плоть —

Твой адский плод, наш общий Господь! —
сладкая горечь и детства вкус,
на зубах — зажмурься! — победный хруст,
солнца аскеза, страсти искус:
— Жжяrr-ный Кокурус!..

...Промчались дни. Обратились в прах.
Еду с гостинцами в руках
в свой дом на чужом коне.
Чьи это лики явились впотьмах —
кустарник в пророчествующем огне! —
мой сын и дочери — рок и блюз —
«Жареный Кукуруз»!..

...О, снова года! И всё горше груз
безмолвья, что исходит из уст,
и новый мир бесприютен и пуст.
Но ликующий крик наполняет собой —
снятся внуки веселой толпой:
«Дед Жареный Кукуруз!»

И старый архангел, сгоревший, как куст,
ответствует им и крутит свой ус:
— Йе! Жжяrr-ный Кокурус!

ЧЁРНО-БЕЛОЕ

Вспышка, голос случайного чуда, исцарапанный свет.

«Ты откуда?» — кричу я.

«Оттуда,

где тебя уже нет».

Паралич, свалка гипсовых статуй, ампул вколотый прах,
год сиротский, пятидесятый, санаторий в горах,
у луны на морозной террасе золотой ореол,
ты никто, только б не потеряться, боль, вечерний укол,
папы с мамой забвенные лица, конь, игрушка, мечта,
брат в погонах и в звёздах столица — узнаванья черта,
репродуктор в небесную полночь всех нас скопом зовёт,
безымянный — ты имя запомнишь и затерянный год,
ибо не пробужденье настало — продолжение сна,
конь игрушечный — символ на славу,
что такое весна? —

времени круговая порука, бедное волшебство,
мальчик, что ж так похож ты на внука
твоего — моего,

ах, старик, оглянись и откликнись, дни легки и пусты,
мир — раскрашенный клоунский климакс,
мальчуган, только ты! —

только я, побывавший тобою в том кошмарном раю,
тот, кем стал ты, кого я не стою...

У окна постою.

Чёрно-белое, горькое, злое, блеск умершего дня.

Лейтенант молодой со звездой

мне подводит коня.

* * *

ветер заблудился
среди струн овса
и над полем
бродит
колокольный звон
лето отпевает мать и отца
всех своих любимых
хоронит в зной
в маленькой вселенной
из пчелиных слёз
солнце разливает
свой полынный мёд
и холмопологий гудит овёс
и мерцают зёрна
загорелых сот
плечи жжёт
и так немилосердно жаль
уходящих
плачущих
последних дней
солнца и овса
и эту даль
душную
и искорку небес
над ней

ФОТО: НОЧЬ ПОД ПЛАТАНОМ

Двое — в объятиях божьего дара,
пряной лозы на пиру валтасара,
на гобелене изольда несчастна,
море меняет цвета ежечасно,
крона платана колеблется шало —
отзвук столетнего скифского шквала,
тени двух женщин в чужом освещенье —
ах, как смешно и печально смущенье,
не измельчала щедрот камарилья,
не замолчала в душе киммерия,
ах, с пастурмой обнимается перец,
ах, ни соперников здесь, ни соперниц,
меркнет луны отдалённая линза,
тьнь винограда ложится на лица,
влажная мгла застилает незримо
крым во владениях третьего рима,
мельком на тихое пиршество глянув,
в сырокопчёный пожар баклажанов,
и отыскав, как сердечную смуту,
где-то на доньшке дара — цикуту...

СНАЙПЕРША

1

стерва скрипачка крыжовник ягодка в колкой листве
кончился век твой прожорлив лампочка гаснет во сне
жизней консервные банки время вскрывало шутя
ясно свежа после пьянки шлюха убийца дитя
что сквозь прицел карабина в чьи-то смотрела глаза
чтобы судьбу окропила пули немая слеза
думала всё позабыла как закрываясь плечом
смертную мглу проходила с лёту скрипичным ключом
и не меня полюбила неоднократно причём
и притвориться спешила смертью и тут же врачом
вот сорвалась ты на трассе можно сказать ни за грош
на очумелом пегасе нового века гаврош
помнится только стена мне в доме бездомном твоём
выкрики смех и стенанье с жизнью и смертью вдвоём
тянемся к телеэкрану плоть от бессонниц отвлечь
где совращает саванну разноязыкая речь
чёрный огонь никотина кислые годы страны
всё что на нас накатило наша вина без вины
только заложница только красный террора зрачок
на пол хрустальный так тонко падает твой башмачок

2

Когда тюрчанку из Ширази
Своим кумиром изберу,
За родинку её отдам я
И Самарканд, и Бухару.

(Хафиз/Липкин)

Солёный хлопок. Мареву луны.
Щит сонного генсека с «*Миру — мирóм*».
Ты тешишь цель её последним мигом.
Вот я — стреляй под тихий плач муллы!
Мы на краю времён и на краю
пространств — душеспасительная фраза.

Пустой кабак с фасадом от лабаза
в безлюдном героиновом раю.

Ты, спящая, в мои стучишься сны,
единственная в подлинном и мнимом,
я твой лунатик, я тащусь по минам —
там твоё тело в запахах весны.
Арык бормочет отповедь ворью.
Горчит вина глумливая проказа.
Я жду с террасы пыльного «Шираза»
твой голос, юной суки айлавью.

Не умолкай — мы миру не должны,
какой уже бенладен лег костями нам
в угоду, невинным и невинным,
не уходи — мы миру не нужны.
Не умирай! — когда я кровь пролью,
впотьмах сложи ладони для намаза.
За родинку твою, за бланш вполглаза —
отдам дурную родину свою.

ИСТОРИЯ ЛЮБВИ

Ангел, шумя винтами,
снижается над Юго-Западным кладбищем.
Пронзительные глазки его из-под набрякших век
шарят по рядам смыкающихся могил,
по мраморной крошке, сорнякам и лёссу,
ржавым венкам,
пластмассовым канистрам и безутешным клёнам,
он протирает очки,
прищуривается близоруко,
смаргивает сварливую старческую слезу:
— Иван, сын Кузьмы Шаповалова, — есть такой? —
не откликается земля.
— Иван Шаповалов, — звереет ангел, —
куда ты к черту запропастился, эй там,
позовите его что ли!
— Скоро будет, — шелестит хор голосов
с Почётного квадрата,
где кучкуются воины Курска и Манчжоу-го,
Сталинграда и Кабула, Колымы и Кандагара, —
он скоро будет, он скоро будет,
он у сына на даче,
это неподалёку, это рядом,
это совсем близко,
сын его психанутый гнал машину мимо кладбища
и с шоссе пожаловался,
мол, батя, трудно мне без тебя,
пожил бы ты хоть маленько, поглядел
на этот бардак! —
старик и рванул за машиной,
скоро он вернётся, скоро он будет.

...Отец мой, отец мой,
ты прожил три четверти века и плюнул,
сколько ещё можно!
Как мало фотографий осталось для внуков,
как мало внуков! —
эти старые фотографии на картоне,

внутри виньеток чернобородые мужчины,
а в центре — мальчуган в картузе
на руках у отца,
моего деда,
чей взгляд прожигает картон.

Это ли не история любви?..
Когда в 1912-м дед распродал стада
и уехал покорять Америку —
и год спустя вернулся за вами,
семья голодала и обовшивела,
а те, что ловили взгляды его,
забыли наш дом, —
ты помнишь? — дед мой и твой отец
вернулся за вами.
Увидев оскорблённые труды свои,
сорокадвухлетний воронобородый
ровесник Ленина,
вывел последнего исхудалого рысака
и погнал по селу.
И прятался народ: Кузьма мстить приехал!
А дед загнал коня,
набросив на его вспененную спину
нагольный полушубок
и потом полушубком этим одел семью —
как накормил пятью хлебами,
и вши исчезли (и вновь они могли бы
появиться через семнадцать лет,
но дед был умней,
чем коллективизация).
Однако в этот день
грянул на дворе выстрел Гаврилы Принципа —
и рухнул печально известный
неповинный эрцгерцог,
и закрылись российские границы.

...А голодные первые советские годы —
это ли не история любви? —
ты, отец мой,

курил первую свою самокрутку —
и спалил чужую ригу,
и полсела стало с дрекольем у дома:
выдай нам мальчика! —
и вышел дед с топором,
прислонился к резным перилам,
блеснула знаменито-змеиная его улыбка
и блеснул утренний лучик
на лезвии топора —
и молча отхлынула толпа!
Тебе было одиннадцать лет, папа.
Это ли не история любви?..
А когда ты, отец, пробив лёд ноября,
стоял по горло в пруду, и тебя искали
те, возжаждавшие кожаных курток
и алых мандатов,
твои дружки,
те, что плясали под знаменитую твою гармонь,
что кормились в твоём доме в голод,
кого ты вырастил возле себя, —
нет, а помнишь, как в 58-м
ты впервые за тридцать лет приехал в нищее,
в родное село — Гордиенки
Камышинского некогда уезда,
и старики —
они стали старше тебя! —
целовали тебе руки и просили прощенья,
а под английским драпом
звенели фронтовые твои медали...
И какая же разница, скажите мне,
между историей любви и Историей?

Много раз умирала наша семья —
но вновь поднималась.
не сломили фамилию ни войны, ни казни.
Эпоха охотилась на тебя, как на волка,
отец мой,
но игла портного плела нить жизни.
И теперь, когда нет вас, старики,

и остались только мы,
стареющие сыновья ваши,
фамилия Шаповаловых чахнет —
и лишь двум юношам её продолжить.
Я не владею иглой, отец,
а разум — оружие слабых.
И когда еду мимо кладбища,
я бросаю взгляд в сторону твоей
неотмщённой могилы.
История любви...

*...И летит душа старика за машиной
над аламединской аркой и байтикским подъёмом,
прочь от чон-арыкского перевала.
Но сын быстро ездит и ГАИ не боится —
вот и никак не нагонит его отец,
никак его не пожалеет.
Сын, откинувшись на сиденье,
правит одной рукою,
зло срезает он повороты,
мимо кладбища проезжая,
вспоминает врагов отца повзводно
и поимённо —
не со всеми ещё расчёлся.
«Что ж ты зовёшь отца, беспокоишь,
ехал бы другой какой-нибудь дорогой,
или впрямь всё уже так плохо?» —
вы спросите сына —
так он ответит такими словами,
что старый очкастый ангел,
притулившись на памятнике, ожидая Ивана,
шарахнется, свалится с низкой стелы
к корням одинокой сирени.*

* * *

Dahin! dahin!..

И. В. фон Гете

Как в анекдоте, в мареве седин
оставшийся негаданно один,
лицо в ладони погрузив, — о-омин,
туда, мой друг! — зовёшь, — dahin, dahin! —
я знаю край, — твердишь, — там всё в цвету,
там мотыльки сгорают на лету,
там сняли скальп у альп с умолкших роц,
там серых скал истаявшая мощь,
там шире горизонт, чем круг земной,
очерченный китайскою стеной,
там дочери и сын твой навсегда,
там в чуждых родниках звенит вода,
там годы не оставили следа,
туда! — хрипишь, — я вас молю, туда,
dahin, dahin! — и на фига ж им плыть,
очей бездомных сдерживая прыть,
кого вести, когда, глаза закрыв,
тропа стремглав бросается в обрыв,
зачем же звать — из лжи в другую ложь? —
но ты — зовёшь,
зовёшь, зовёшь, зовёшь...

С ТОБОЙ, LILI MARLEEN...

mein gott как славно на посту меж яблонь или груш
вот в комсомоле я расту колхоз толпа катюш
что будут ждать я хоть куда я шустрый паренёк
и для меня горит всегда в тумане огонёк
я вспоминаю не про то но мне не встать с колен
вот скромный синенький платок он твой лили марлен
расстрелян пост парад алле и я развеян в прах
и вот де юре я в земле де факто в небесах
я знаю не о том же речь но все заботы с плеч
и коль придется в землю лечь то лучше в землю лечь
под сердцем ноет вертолёт без видимых примет
и тащит цинковый оплот последующих лет
с берёз не дышит твой гормон о время перемен
поёт в землянке мне гармонь с тобой лили марлен
с тобой лили лечу с земли где рухнул мир как мост
с тобой лили лежу в пыли щекой касаясь звёзд
слились черты закат в крови и тьма и гарь и тлен
и ненависти и любви оскал лили марлен
друзья вперёд ведь наш черёд пора кормить червей
да будет сталь за далью даль и кроны без корней
летит наш поезд под рязань рыгая на ходу
его шарахнет партизан в двухтысячном году
с тобой лили вдвоём вдали на атомы разъят
мы в будущее проросли но всё здесь невпопад
гагарина безумный лёт ночей безлунный бег
бездомный день бессонный год у безымянных рек
давно бесплотна наша плоть и слеп наш третий глаз
и сгинул в лагере господь и огонек погас
и только помнится простор весна свела с ума
и тёплых губ немой укор и пир и с ним чума
и сердце рвётся как пунктир изношено до дыр
с тобой с тобой лили мит дир
и умирает мир
mit dir
lili
marleen

ГРАДУ И МИРУ

что было толку создать чахлую лиру
с нею нагорной воздать граду и миру
в правде безгрешной солгать мниху и вору
шёлковый путь пролагать гладу и мору
и бестелесную плоть ставшую телом
стоило ль перебороть в чёрном и белом
что за бессмыслица хоть суть без предела
инопланетный Господь что ж ты наделал
что за никчёмная боль местного вида
озера мёртвая соль пляска давида
у половецких костров гусли бояна
смыслов растроченный кров кровь из-под крана
над околесицей лет призрак парада
жизнь наркотический бред сон шелкопряда
ни языка ни родства в голосе крови
девственного естества в зеркале кроме
тех недожитых в глуши дней еле-еле
неузнаванья души в собственном теле

РУССКИЙ СЛЕД

Мы не были
иль все же — были?
На скольких кладбищах забыли
мы дедов горькие могилы,
на сколько верст, на сколько лет
след судеб,
пылкий след комет?..
И что о нас узнают внуки,
и как сказать им до разлуки,
что наши души, разум, руки,
надежда, родина и честь —
всё это ведь они и есть!

Есть поколенья — как подранки.
Спят на казахском полустанке
и на ваганьковской делянке
два моих деда,
навсегда
над каждым — общая звезда.
Пусть нас рассыпало по свету,
но мы храним надежду эту,
как виденную раз комету:
фамильный светоч потускнел,
но это ли —
судьбы предел?!

Час испытаний обозначен
и лик прародины утрачен,
но мною не переименован:
сквозь соль азийской смуглоты —
российской ярости черты.
Не привыкать нам жить в изгоях
страны, погрязнувшей в героях —
всех этих бесконечных Троях,
без нас
счастливых и чумных,
но с нами — навсегда чужих.

И пусть душе не разорваться,
и пусть нам некуда податься,
и пусть нам незачем рождаться
между ракитой и арчой
слепой трепещущей свечой —
но мы живём, как нас растили,
нам редко снятся сны России,
где от земли к высокой сини
звал некий голос за собой,
где свет небесный —
след земной.

* * *

Рожь, рожь... Дорога полевая...

А. Твардовский

Рожь, рожь, дорога кочевая
инфарктом дизелю грозит.
Уткнись в подушку, почивая,
земля, презревшая транзит.
Ложь, ложь, но правды нет и выше,
былых надежд пуста казна,
в путь поколенья дедов вышли,
но этой степи нет конца,
лишь дрожь судьбы незавершённой,
грош приснопамятной луны,
колодец, хутор отдалённый,
отечество на дне страны.

РОАЛЬДУ САГДЕЕВУ

Oh, when the saints go marching in...

среди чёрных дыр
бредёт наш мир
оболган истиной и славой
четыре пишем два в уме
да будет свет
небесный след
где меркнет бред звезды кровавой
а рай он вот он дверь во тьме

была б весна
была б страна
была б галактика ночная
но мгла полна слезами звёзд
и ночь нежна
и вкус вина
мы вспоминаем умирая
за нами тост но пуст погост

чужой земли
куда несли
нас корабли под парусами
из той страны чей горек взгляд
Господь вдали
в земной пыли
взгляни у босха в чёрной раме
пришли слепые в райский сад

так что ж во сне
в забытом дне
чужая даль владеет взором
и родины скуластый лик
поверх тропы бредут слепы
и вор обманут приговором
и вечностью обманут миг

Господь входи
всё позади
в защитах или нападеньях
всяк мирозданью гражданин
и счёт ноль-ноль
и бросив руль
безмолвно шепчет академик
oh when the saints go marching in

МОСКВА, ТЁПЛОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТОГО

В. А. Никонову

Я в вагоне славном долго еду мимо всех лесов, полей и рек
с папою и мамой в гости к деду, что большой и важный человек.
Гул, вокзал, такси, толпа людская, тёплый дождь, прожекторов лучи.
Папа говорит: «Была Тверская...» Мама нервно шепчет: «Помолчи!»
Памяти дошкольной не оспорим, где-то здесь кончалась тупиком
церковь Вознесения Господня — улица Станкевича потом...
Мягкий вечер наступает тихо, мятым ветром тянет из окна,
дремлет москворецкая купчиха — дедова кремлёвская жена,
завтра утро красит нежным светом чёрный ангел Крымского моста,
гордо бьётся в ритме невоспетом сердце нашей родины Москва!
Слово Сельхозвыставка повисло, фото — дед в мундире атташе,
ящик под названьем Телевизор, дом без лифта в восемь этажей,
нет в квартире ни кота ни печки, мне не обещают дать ремня,
как близки рубиновые свечки спасско-боровицкого кремля!
Мавзолей опасной силой дышит, дед ворчит: там демонов приют.
Ленин письма Мясникову пишет. Мясниковы рядышком живут.
За безмолвной стенкою в квартире, время за собою затворя,
затаились в коммунальном мире тезоименитцы бунтаря.
Дарит мне жюльверновскую книжку умный, взрослый Феликс Мясников,
я способный, но болтаю лишку: молотов-булганин-маленков...
Книжка сердцу вечная отрада, миру бессловесному укор!
Где вы, дети капитана Гранта, океанов синий коленкор! —
я поеду к капитану Гранту, мне отец и мама не указ,
я уже готов к борьбе за правду, я уже закончил первый класс,
я спасаю этот мир отныне, где томится полная любви
юная красавица-шахиня — что-то там реза-де-пехлеви!..
Стало веселее жить на свете, ночью воронок тебя не съест,
для отца ослабла хватка смерти, отрапортовал двадцатый съезд,
долг век, не вычерпан колодец — спёртый страх потерянной толпы,
парочки рабочих и колхозниц тащат золотистые снопы,
над марьинорощиной тоскою гипсовое дыбится весло,
щурился ведьмачье воровское местное бесхитростное зло.
Не ходынку вспомнит бедолага в мутной мглой размазанные дни —
сытое кощунство вурдалака, кунцевские редкие огни...
Всяк теперь обычною нирваной к изгороди вечной пригвождён,

вождь лежит усатый и румяный рядышком с иссохнувшим вождём.
И похмельно мрачен в мавзолее дедов антибольшевистский зять,
от необратимости зверея, обернувшись наскоро назад.
Пленены грядущим изобильем, смотрят в космос мудрые сердца —
и мужик архангельский под шпилем в небо устремлённого дворца.
Мчится в будущее, не иначе, некий поезд Красная Стрела,
взгляд прикрыв тяжёлый и не плача, спит краснокирпичная Стена.
И через полвека — ах, как скоро! — это станет непонятым сном,
новых юных поколений свора явится к нам с кровью и огнём,
быть тебе счастливу и богату, пионер, труби в свой звонкий рог:
в путь от Верхней Масловки к Арбату, где не надобно иных дорог...
Я уже почти москвич с запасом, мой маршрут — весь старенький Арбат.
«Сбегай к Долгорукому за квасом!» — мне порою взрослые твердят,
улица Станкевича, а кто он — знает дед, не скажет ни хрена,
зря ли виден (жребий уготован) Юрий Долгорукий из окна.
Ах, как тянет заблудиться в датах, чтобы там остаться навсегда, —
тёплый свет, конец пятидесятых, новый мир, и юность, и звезда...
Старобольшевистский, неопасный, в Раменское в ссылку едет дед,
отягчён антипартийной кассой и толпой примкнувших к ней побед.
Скоро сам к ваганьковскому скиту он по стылой стёжке февраля
двинет, хая дурака никиту, вячеслав-михалыча хваля.
Будущего горькая основа, оттепели тихая вода —
это лето пятьдесят шестого, утро, столь короткое тогда, —
пахнут ветви яблоневым спасом, воздух над Москвой-рекой кипит,
я спускаюсь к скверу за квасом мимо долгоруковских копыт,
голубиный говор тих и гулок — и уходят в небо в тишине
старый Вознесенский переулок, улица Станкевича во сне...

МЕССИАНСКИЙ РОМАНС

Одноклассник, мой друг, демиург — то бишь невропатолог,
академик, диктатор, зануда и любящий дед,
надо б выпить, поскольку наш путь недалёк и недолог —
ведь, присев за рюмашкой, увидим: нас тут уже нет.

И не то чтобы вдруг оттоптали дорожку к рассвету
врач и эпик, ненужные этой рассветной стране:
надо ль спрашивать Бога, коль оный не склонен к ответу,
надо ль портить глаза, чая встречного света в окне?..

Куклы прежних витрин, мы с тобой не тотчас озвереем,
раньше местный египет пошлёт нас от местных небес,
и пешочком потопаем, грустные, русский с евреем,
хоть под задом тойота, да и под другим — мерседес.

Гаснут краски, у всех моисеев намылена выя,
в анекдоте, слегка запоздалый, таится совет.
— Рабинович, мы ждать вас устали! — талдычит Мессия.
— Ой, уж кто б говорил! — Рабинович бормочет в ответ.

НАД ПЛАНЕТОЙ КУКУШЕК

Назыму Хикмету, крупнейшему турецкому поэту XX века, спустя 45 лет после его кончины возвращено турецкое гражданство...

Associated Press, 6 янв. 2009

Летят вразброс над просторами концлагерей
три усталые чайки. Над долгим Срединным морем.
«Гео!» — младшая кличет — и доносится с прочих морей
отзыв: «Назым!» И мы ему нынче вторим.
И сын Багдади, дальний из них троих,
запродавший крылья взломщикам касс и мыслей,
молча слушает ветер, привычно бьющий под дых,
полагая, что где страна, там и мы с ней.
Летят сквозь столетье три чайки — не виден свет,
а в театре теней герои не слышат друг друга.
Маяки погасли — да их и вовсе-то нет.
Умирают цели на карте земного круга.
Serbest nazım* — зазвучало магически имя его
в Бишкеке, в музейном строе бронзовых силуэтов,
и вспыхнуло на лицах злобное торжество
у надменных ректоров турецких университетов.
(Вечером, когда выпили, я всё же подрался с одним:
сразились, так сказать, за свои убеждения.)
О, ласковая Азия, печальный отечества дым,
дымок кебаба, аромат кофеен, мраморной пены пенье! —
как же вы позволили, Трабзона хрусталь и медь,
остановить течение звёздной реки печальной,
сына изгнать и насмерть дверь перед ним запереть,
чёрной ладонью заслониться от встречи случайной! —
ибо прежде чем прозвучало «аминь»
жесточкой, ледяной, дружелюбной чужбины,
в базиликовом воздухе плакала эгейская синь,
звенела пронзительная полынь анатолийской долины,
откуда бегут перед лодкой рыбацкой вечные три волны,
отчую землю однажды навек покинув,

* Игра слов в имени Назым: «свободный стих» (верлибр) – «свободный певец» (турецк.).

чтоб тиражировали газеты чужой страны
одинокство рыжего грифа в толпе пингинов.
Нота помилованья в нестройном хоре вестей —
запоздалая веточка флейты на камуфляжке:
родины, видите ли, прощают сыновей,
но родные объятя — смертельно тяжки.
В руинах московских улиц — как в выставшей печи.
Душа, продрогнув, заворачивается в газету.
Громяхая по старым трубам, вода в ночи,
из унитаза прорвавшись, впадает в Лету.

ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС

Бал выпускной средь ночи на бульваре.
Фонарик есть? — тут где-то наблевали,
сотрите кровь, мы больше не враги,
ряды сомкнули, молча попрощайтесь,
покаемся — назад не возвращайтесь,
не возвращайте старые долги.

Законспектирован роман толстого
про юную наташу из ростова,
про «мир» и «мір» и примиренье мер —
ведь летопись бесхозной русской крови,
изложенная на французской мове,
наш символ веры, хоть в итоге — хер.

Узнаем, что дано узнать изгою,
не этой жизнью предану — другою,
той, где нет места истине нагой,
где князь андрей с отстреленной ногою
разит татар за курскою дугою —
и бьётся колокольчик под дугой!

Лишь успокойте нас: мол, все мы бренны,
«черёмуха» родит нам флёр гангрены,
и пахнет гнилью время перемен,
и сплёвывают нищие камни,
и спят с тореадорами кармены:
нырки и крены и в итоге хрен.

Эх, пронеслись, алмазные, в чахотке
то выборы, то танки по чукотке,
с победою всё тех же ермаков! —
не зря же там, где полегли иваны,
друг другу гланды вырезают кланы,
не скинув камуфляжных башлыков.

История, мы твой барак тифозный
в испарине вспомянем коматозной

как некий знак: вот здесь — Земля Отцов.
Не зря мы поколениями томились:
калашников — нам всем однофамилец,
а мы — шеренга дружных мертвецов.

Открой, конвой, нам бал в Колонном зале!
Нам папы с мамами всё рассказали —
и каждый страх свой в генах передал.
Мир плачет в ритме вальса выпускного.
И сыплют соль земли.
И снится снова
всё тот же сон, где всем — один финал.

СОН О НЕСЛУЧИВШЕМСЯ ВОКАЛИЗЕ

летела заунывная партейная
к примеру по-над тундрой в дневниках
всех стай страны
музыка запредельная
я хором петь паскуда ну никак
загадок без разгадок не загадывая
я просыпался радостно во сне
шептал шаляпин голосом зюганова
элегию товарища массне
и плыл я над тайгой вдвоём с сенаторшею
холодноват был наготы бокал
я ей мол Valya помнишь эту каторжную
бродяга вброд и бредил про байкал
вот и склонился над козырной картою
а дама где-то в небе на метле
и песня про судьбу мою укатанную
печальна как прореха на мотне
свеча перед иконою как водится
пока зачитывали приговор
молчаньем оттеняла Богородица
гяурых гмырь из мглы гремящий хор
ужо мне ламентации безвольные
я ведаю судьба мне не с кем спеть
мой ужас детства белое безмолвие
судьбой на жизнь натянутая сеть
ах зря неизречённую гренадою
всё в нас казалось освобождено
застенчивая дурочка с гитарою
ни мне и ни тебе не суждено
не даст Господь ни тишины ни голоса
дремотным тварям завтра и вчера
не будет откровения и логоса
и метрополитен блин опера
подайте зрячим сами мы нездешние
к примеру я в расхристанном плаще
оттуда где в горах гниют подснежники
из дальних стран где не поют вааще

КАЛЬКУЛЯТОР НА СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕ

Пригреет на подоконнике, на кончике февраля,
полуденное солнышко, над снежную шапкой рея,
и высчитает дни твои изумлённая земля,
зелёный калькулятор на солнечной батарее.

И в выщербленном ящике, где чёрный пережной
заснул ещё с прошлой осени, склонный к покою,
дохнёт вдруг теплом и влагой, распаренной поливной
чёрной садовой плотью — то есть собственно весною.

Воспарит зелёное пёрышко, трепещущий дар
подпольного фотосинтеза, радостного обряда,
и будет страшен и явственен дальний звёздный удар
в крохотном прообразе гефсиманского сада.

И детство, воткнувши нос в ледяное окно
и обжигая взгляд о вымерзшее светило,
запомнит, поймёт и полюбит мир этот с ним заодно,
только бы жизни на веру с надеждой хватило.

И мальчик, прикован к кровати, на ноги встанет вновь
и выйдет к сверстникам и прочим, живым и разным,
оставив миры из книг, предчувствуя любовь
к самым невообразимым человекообразным.

И навсегда останутся в сердце страх и восторг,
застенчивый сладкий ужас первого шага,
а в чёрной радиоточке вслед заалеет восток,
заголотит отвага, зашелестит бумага.

Росток, заложник будущего, зла на судьбу не таи,
гадкий утёнок надежды, первенец творенья,
ибо вложатся в жизнь все летосчисленья твои,
зелёный калькулятор на солнечной батарее!..

ДЕМИУРГ

И я Ему сказал, что Он
не виноват ни в чём...

А. Кушнер

Ни хрена Ты меня не жалел, ни от чего не берёг —
а ведь как я радостно млел, юный глупый сурок,
вылезший из норы на галактический склон:
Боже, какой простор, и это взаправду не сон! —
до сих пор задыхаюсь от счастья видеть и жить,
вот бы мне только вдох выдохом завершить!
Всего было вдоволь в дыму, но строго учёт вели
каждому утру любви, парусу на мели,
шёпоту, поцелую, дерзостному рывку,
в рёбра клинку, венку, цинку и орденку,
но одного не учили: всё это было — моё,
важнее, чем все соблазны, чем просто житьё-бытьё —
оцифрованные сновиденья, оцинкованная броня,
несобранные камни, неродственная родня.
Как меня добивали, творя надо мной добро,
словно во мне добывали чахлое серебро,
забыл я всё то, что помнил, отдал, что захватил,
и только потом уже понял: за всё сполна заплатил.
Но даже и тут Ты меня не пожелал пожалеть,
ведь Слово — наркотик Бога, труб Твоих злая медь,
недостижимой боли сладостная игла,
непостижимой роли тягостная игра!
Завидуйте, зоофилы, аще кто не помре,
подопытной дрозодилы короткой счастливой заре:
«В начале было Слово...»
Как много начал и слов...
Вот Он догоняет Иова: — Э-э, там сколько с меня, Иов?..

ГРУППОВОЙ ПОРТРЕТ

вынырнув из интернета руки впотьмах разбросав
там где застыли вполсвета лики родных в образах
старое фото без грусти по именам нас зовёт
в маленьком городе фрунзе улица юных сирот
где-то там наши невесты мы не ходили в детсад
чьи-то отцы неизвестны чьи-то по тюрьмам сидят
сонное зарево зноя маркс бородат и сердит
небо грохочет за мною юный гагарин летит
эхо небес оседает необратимая пыль
из ничего созидает время печаль и ковыль
парнокопытных фламинго к звёздам полёт ломовой
физик валерка ломидзе молча качнёт головой
старший из нас он не промах споро шагает во тьму
шепчет на быстрых нейтронах хмурый реактор ему
в чистых холодных ущельях в тихом раскосом мирке
гений избушек замшелых старый этюдник в руке
жорка макаров рисует кисть молодую берёт
выжечь палитру рискует нежная астма берёз
с ними увидевший чудищ век я бреду по селу
спросят меня третьим будешь? буду ответу всему
злобные злаков колосья хищная нежность серпа
чёрные дыры колодцев чуждых надежд черепа
тянется между мирами в каменном русле река
как далеко умиранье как эта жизнь коротка
дней пересчитанных добрых не истощился запас
целится молча фотограф вечность приветствует нас

ПЛАТОК

Василиса Егоровна, бабушка моя,
душа твоя ласковая в какие ушла края,
где ты там, бездомная, от всех нас вдалеке,
с теплящейся свечкою в сухонькой руке?
Василиса Егоровна, девяносто лет
печально и всепрощающе глядели на белый свет
выцветшие, подснежниковые, любящие глаза,
огромные и всевидящие, вселенские, как гроза.

Стояла перед иконой, когда уже всё прошло,
когда уже всех потеряла, утратив добро и зло,
от похоронок оглохла, ушла в безмолвную тьму
и через многие годы шептала мне и Ему —
всё об одном просила, слов мне не разобрать,
а Он их, наверное, понял — и к ней пришла благодать,
пока Он невесело всматривался в иссохший бабушкин лик,
и мы с Ним глазами встретились на краткий какой-то миг...

Все мы немного иовы у Бога, которого нет.
Но я глазами бабушки гляжу на белый свет,
потому что детские слёзы к ней нёс я издалека,
а она мне глаза утирала кончиком платка.
Бабушка...
Где же платок твой, в вишенку по краям,
не им ли глаза утирала ты плачущим сыновьям? —
были почти ровесники, выросли наравне
и оба навек остались на позабытой войне.

МАТЬ

итак расстались душа и плоть в остатке лишь тишь да гладь
праху — в прах заповедал Господь
душе — блуждать

всё вроде верно и в почву вглубь в земную толщу в ненависть скал
в бешенство магмы как на иглу уходит тело от одеял
от смертного ложа над коим лоза пологом нависала с весны
и чёрной изабеллы глаза к осени были слепы и светлы
тело всё глубже вонзается в ил где разуму миллиарды лет
где кто бы что бы ни говорил прежде всего отсутствует свет
в неведомом вечном центре земли как и в мгновенном центре небес
не встретит оно от шести до семи контору с функциями собес
душа же молча кружась над гнездом меж милыми места себе не найдя
бездомною судорогой дождя пробует сверху окутать дом
события повзрослевшей семьи плача подсматривает в окне
и просит вспомните обо мне хотя бы от шести до семи
затем кружение сие прервав в надмирный перистый слой небес
воспоминаньям наперерез восходит нечто без слёз без прав
не узнавая не помня не
ведая вышины в вышине

ДИНАСТИЧЕСКИЕ СТАНСЫ

П. Д. Шаповалову

Хохлацкое сельцо над Доном, река Медведица налево,
вокруг Россия, за кордоном чужое море обмелело,
застыла хата угловая, за базом в небо тычет дышло,
война зачем-то мировая вошла в избу, да и не вышла.
Чем жили вы, про то забыли, отвспоминали, отрыдали,
и на пароль: здоровы были! — твердили: здоровей видали! —
и говорить учились матом, когда на митингах кричали,
и сельским пролетариатом себя в анкетах величали,
и под гармошку пешим лазом толпой на выборы ходили
навек победившим классом по немощёным пикадилли,
и избывали самоволку, в которой что-нибудь да значим,
и убивали комсомолку, а после хоронили с плачем.
В итоге всё-таки бежали, презрев конвой и караулы,
в кызылординские печали, далёкой Азии аулы,
кордоны хищные сминая, вокзалами или портами,
обзаводились именами, легендами и паспортами —
житьё налаживали бренно в необозримых регионах,
в глазах монгольской ойкумены и сырдарьинских прокажённых.
Вот над могилками в ограде чужого неба шум и шелест,
и время прячется в засаде, и бьёт, давно уже не целясь,
но до сих пор в крови отравы по части классовой природы,
и дышит над виском держава, и прячутся громоотводы.

НЕЧТО О РЫБАЛКЕ

кусты сирени утро белая рояль
таится в тишине безмолвна и пуглива
зря пучеглазый пёс по имени полина
зовёт капустницу в неведомую даль

ведь горизонты к ним приблизятся едва ль
обычная мечта увы невыполнима
слегка наморщил ветерок чело пролива
пьёт бормотуху виктор лёва курит шмаль

о трепет тишины лик в лёгких облаках
на турецком саване и сходству удивишься
бутылочным стеклом вонзается в глаза

к полудню создан мир и сэкономлен прах
и юный тонкий стан бросает стрекоза
с улыбкой хищною на кончик удили ща

РАССУЖДЕНИЕ ДЛЯ ВЬЮНОША НИКИТЫ САЛИМБАЕВА О МНОЖЕСТВЕННОСТИ МИРОВ

*В память о великом артисте
Махмуде Эсамбаеве*

Нет, не взорванный дом, где рабов отродясь не бывало,
не анналы земли, что героев своих убивала,
только миг, только век, что своим забытьём перечёркнут,
только детство и юность!

А прочая жизнь ни при чём тут.

Два лица светят мне из толпы молодых раздолбаев:
рядом с папой моим дядя Миша стоит Эсамбаев —
юный принц неподвижно танцует в незримой короне,
а отец в эту пору — ну вылитый Майкл Корлеоне.
Мне пять лет, новый год, как сияют сосульки на крыше! —
я в костюмчике новом сижу на руках дяди Миши,
вот он хвалит меня, и я брови суровые хмурю
и читаю стихи — мглою, крою и снежную бурю...

А годкам к двадцати мы с папашей твоим, друг Никита,
близлежащую юность к взрослоенью склоняем открыто
и, пока в храм искусства в карманах храним контрамарки,
с нами ласково дружат славянки, киргизки, татарки,
щедро бьются сердца — что за лесоповал в карнавале! —
возле сказочной ёлки, в огнях, в Малахитовом зале,
знатоки, раздеваем ровесниц счастливым рентгеном
и в мечтах одаряем их всех нашим радостным геном —
и не знаем рефлексий! — Судьба это метаморфоза:
обесточить снегурочку в облике деда мороза
и с мороза шарахнуть поллитру, делённую на три,
и творить маскарад в переполненном Русдрамтеатре
или в Оперном, где меж колонн, не войдя ещё в зданье,
с Богом в жмурки спешит старшеклассниц прелестных сознание,
а в глубокий подвал, не избегнувший функций буфета,
проливаются сверху звезда и глоток менюэта...

Кто-то просит помочь, у кого-то там где-то экзамен,
бредит чудным привольем простуженный тенор Рузавин,
то ли — ах! — фуэте с маемой пополам, то ли гаммы:
эти наши наставники — что ж они так полигамны! —
льют для них из незримых лекифов земные напевы

хора с кордебалетом отвязанные королевы,
до-ре-ми-се-ля-ви и ля-фам, безусловно шершея
и в занятии этом блаженствуя и хорошея!
Но не это манило, и даже не щедрая съеста
в общежитьях ткачих на Проспекте, припомни, Партсъезда,
где селили актёрок — спасти племенную картину,
нет, не это. А что же? нездешних кровей гильотину? —
нет! —

в театре пустом сновиденья, мечты, привиденья,
чертовщины и страсти в экстаз тишины приведенье,
скрипок скрип, стоны струн, вспышки тьмы, помрачение света —
что за ночь, что за жизнь, что за юное чудо балета! —
вот и утро, зари колесо, сутки вполоборота
и застывший в пространстве, затверженный слепок полёта,
по дороге домой неприкаянное возвращенье,
где нежданное блудному сыну исходит прощенье.
Безымянные тени бредут чередою бессменной.

Опершись о судьбу, постаревший, уставший, бессмертный —
белый фрак и цилиндр позабыты на парапете,
рядом с серой папахой — всех ярче, всех выше на свете,
дядя Миша! —

он, неубиенный, он всё-таки в Грозном,
в грозном мире, наполненном гибелью и многозвёздном,
и душа его мечется птицей, и высью нетленной
к ней спускается облако взрыва — рожденье Вселенной,
и вздыхает оркестр всё прерывистой, чаще, пристрастней,
и всё праведней зло, и добро, несомненно, прекрасней —
и от жадного сердца и нищего взора сокрыто!

Впрочем, ты это знаешь.

А нет — так узнаешь,
Никита...

СОПРАНО

не тишиною нет но глухотою
бессвязных мыслей и ночных тревог
измучен — я дрожал над запятою
и кто бы знал что надиктует Бог
но Голос был вначале а не Слово
и Божий дух был бессловесно нем
и мирозданье сотрясло от зова
беззвучного но ведомого всем
бездомной грустью ширью океана
жизнь наполнялась в тот случайный час
когда над залом алый свет сопрано
победно разгорался и не гас
и слышала вселенная немая
как ясный луч пронизывает тьму
неведомому таинству внимая
и силе не подвластной никому

ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАНС

Алёне

О Вас мне пишется сейчас.
Зачем? — не знаю: Бог подаст.
Полсотни лет назад погас за скважиной лукавый глаз
того цыгана,
что, Вечный Жид и старожил,
Театр ночами сторожил, жил не тужил — и заслужил
всё, что, сбегав, в мешок сложил,
но — без обмана!

Мне — восемнадцать. Двадцать — вам.
Искусств пустопорожний храм пристанищем по вечерам
нам был исправным.
Ничем не обременены, всем, что сбилось, взахлёб полны,
мы наблюдали бег луны
в занятье славном.

О, закулисных замков тишь и благодать! — ещё горишь,
и под доской скребётсямышь.
Нам песня барда про Париж
впотьмах звучала,
дней бык действительно был пег, и чуяли — недолог век
и наших лет, и наших нег
любви — а дальше белый снег, без всяких мук, без всяких вех...
Нам не заглядывать навек
ума хватало.

Мир декораций был для нас, увы, — Монмартр и Монпарнас,
но не нуждался наш экстаз
в щепотке соли.
Пустой театр был зряч и слеп,
и костюмерной мягкий склеп столь чёрно-красен и нелеп —
о, пыльный бархат, ветхий креп! —
и это нам — вино и хлеб,
и боль, и воля!..

К утру судьбы круговорот неузнаваньем отдаёт —
явь, сон, любовь, нетленный мёд,
шлем и забрало,
помада, дрёма, роль с листа и Мельпомены маета,
что утро ночи не чета — во всём, как счастье, разлита
дрожь театрала!..

Да, в этом счастье и беда,
но старше женщина всегда — так старше юная звезда
полынной шири.
Куда вы канули, мой друг,
что с вами случилось там, где двух таких — земной не вместит круг,
где тесно в мире?..

Театр снесли.
От новых стен ждала эпоха перемен —
толпа Офелий и Кармен легко стареет.
В глаза, прожжённый окулист, я им гляжу из-за кулис:
повымерли, поразбредлись.
Вновь — вечереет. ...

Всё позабыл. Не по годам дорога. Как и полагал,
сей богоданный балаган —
без пресыщенья.
Зачем воспоминаний вал нахлынул и к перу позвал? —
я рад, что всё я потерял,
и, коль строку наколдовал, с трудом и имя вспоминал
для посвященья.

...С воспоминанием прощусь, по ветхой лесенке спущусь —
лишь на мгновенье оглянусь:
мы — в балагане,
о, славный час, о, славный вид,
цыган матценность сторожит,
Театр живёт, Театр гремит — и Жорка Белкин* тарыхтит
на барабане!..

* Георгий Белкин, народный художник Киргизии (1945–2016).

ВНИЗ ПО СЕНЕ

Вспоминает иной первогодок: вниз по Сене бежал парходик,
делегацию вёз азиатв,
вечер был восхитительно матов — и вдыхал голубой кислородик
каждый член из приезжих приматов.
Что ж, толпа и такое видала:
журналистка неслышно рыдала оттого, что она на мгновенье
о себе позабыла — по Сене в фиолетовой мгле уплывала,
в воплощённой мечте о спасенье.
Что ж, под камерным небом Парижа
тихих слёз безысходная жижа
вызывала гримасу заката на дублёном лице музыканта:
выше ада и неба пониже —
снова музыка возникала.
Что ж, Бог знает о чём он подумал, когда ветер нечаянно дунул, —
музыкант, прислонённый к гармошке, подыгравший себе понарошке:
отведу, мол, от бабы беду, мол,
может, свет воссияет в окошке!
А над бездной людской нависала и в заклёпочной тьме воскресала
угловато-железная сфера —
то бишь башня того инженера, что, как помнится, прожил немало,
инженерам другим для примера...
Акварельная благодсть витала
там, где Сена впотьмах исчезала,
где истаяла прежняя эра, и на древнем карнизе химера,
изготовясь к прыжку, вполнакала
озиралась с лицом пионера,
и брели по реке парходы, словно горькие сладкие годы,
где на палубах светолубивых среди лиц молодых и счастливых
слёзный бум не выходит из моды —
и без газов слезоточивых.

ЗАПИСКА

Памяти бессмысленны усилия —
ведь сама, как бабочка, взлетит
милой однокурсницы фамилия
над землёй песков и пирамид —
и закружит, как в Шестидесятые,
головы лохматые юнцов,
стриженные бобрики десантные,
лысины заслуженных отцов.
Тянется бессмертною дорогою
наша жизнь с её цветущим днём,
в мини-юбке дева длинноногая
с тёмным взором, пахнущим огнём,
мягче голос и мудрее паузы —
и пронзительнее тишина,
на картинке не белеет паруса —
не сестра, не ангел, не жена.
Но парит над скучною планетою —
тот, из песни, шарик голубой,
и всё той же медною монетою
будущее платит нам с тобой,
и всё той же медленной минутою
обернётся прошлое на час,
чтоб во всём, что не о нас напутаю,
прозвучало — словно бы о нас...

УТРЕННЕЕ РАЛЛИ

гиблый и стройный лесок даль покрошила
космоса тленный песок чья-то кашира
крестообразных шоссе сретенье злое
зомби шаги по росе вокруг аналоя
станет ли утро серей чахлого лета
первая то ли свирель плещется флейта
мир этот после тебя или до вскрика
вот он оркестр бытия первая скрипка
не вспоминай обо мне в годы иные
хриплая скрипка во тьме сосны чумные
первая первая пер
вая в оркестре господнем
местных кровей зинзивер душу проспорим
век мой вершки корешки бедные рыльца
плод непонятой тоски леса-кормильца
синий полощет в груди тяжкий аргентум
с верхненемецким поди прусским акцентом
чадам безродным в ответ щурится бездна
ей в круговерти планет неинтересно
всё неизбежной топор ниша всё ниже
этот безмолвный отпор голосом ницше
неисполнимая тьма да не обманет
глянет в пределы ума в яму утянет
эх да рванём колесом волчьего воя
лягу восплавав лицом на рулевое
правит на шее слегка сквозь разговоры
нежной подруги рука
шарф айседоры

ЭВРИДИКА

чёрная в ёлках молчит безымянная речка
на берегу расстаются два человечка
оторвались только рация пострадала
деве на берегу стикса ждать партизана
боли мелодия нежная льнёт к изголовью
куст бузины восхищённо питается кровью
руки бесплотные тянет из тьмы эвридика
просит разведчик её человек-невидимка
уйду без оглядки вернусь такая примета
музыка талая льдинка хрустального цвета
сердце совсем обмирает под шёпот орфея
всё повторяет от взгляда листвы цепеня
трепетный дактилохореический ступор
на ухо ей он не громче сердечного стука
плащ-палаткой укройся сон позови подремли-ка
шею твою легка обовьёт повилика
и всё будет okay только жди меня ладно
жди обещаю приду спущусь я в твой ад — но
вместе спасёмся нам будут за далями дали
гендель и бах и куранты мы не опоздали
красная площадь и ты рядом с Ним на трибуне
спи моя девочка ночи недолги в июне
вот тебе банка тушёнки две серых буханки
если меня не порвут на портянки вакханки
жди я с победой приду за тобою и pronto
перенесу тебя радость за линию фронта
не оглянусь вернусь прикинься травой
только бы мне добежать объяснить конвою
спутник уходит фронт его ждёт не подарок
верит ему в плащ-палатке дрожащий подранок
листьев на фоне небес утверждён отпечаток
ближе печальней протяжное пенье овчарок
ах оглянулся да не вернулся ждёт увядая
тень постаревшая
выпита кровь молодая

СТАРЫЙ МИКРОРАЙОН В ГОРАХ

льда январская оптика око смертной прозрачности
ожидание отклика что безмолвно разносится
жажда древнего кровника шаг за стилой зарницею
за утехой охотника за бездомной лисицею
лёд на речке проломится под неслышною поступью
золотая паломница морщит мордочку острую
в полушаге от берега с его красными кронами
бродят сполохи рериха по-над микрорайонами
вьюгой с гор этих спустится и прострится далёко
речки вымершей устье — геометрия рока
всё что прежде забросили возвращается исподволь
цвета пламенной осени поредевшая исповедь
в клубах запаха серного вместо жаркого семени
ощущенье безмерного истечения времени

АВИАЭТЮД

Подобно Господу, небесный
пересекаю интерьер...

Э. Межелайтис

Вгляжусь однажды в одинаковые
миры, в их бедных душ бедлам,
в их замыслений клетки раковые —
на кой я их лепил, болван! —
склонюсь над скоротечной сутолокой
инакомысленных трудов,
над их посуточной судорогой,
над протоплазмой городов,
над малостью — прослыть творением,
над болью — побывать творцом
приматов, истомлённых временем,
над юношей с моим лицом.
Надежды первой тень парящую
узрев в несотворённый миг,
пусть! — отымаю длань творящую,
стираю скользкий черновик.
Прощай, судьба моя возлюбленная, —
зима, и осень, и весна,
до сотворения загубленная
в столпотворении страна,
её леса с ночными просеками,
селений злобных нищий рай,
и небо, небо, небо с просверками
галактик и вороньих стай! —
оно, глубокое до обморока,
и век продлит, и дождь прольёт...
Не глядя, суну руку в облако —
найду пропавший самолёт
и, крылышки к хвосту привинчивая,
скорлупке, полной смертных тел,
смахнув слезу, шепну привычное:
«Не дёргайся. Ты — прилетел».

ТАК ДАВНО

Я так давно тебя любил, что и не вспомню, сколько прожил
один — хоть и с тобой вдвоём.

Менялись годы за окном, и смех детей мне жизнь итожил.

Но я тебя не позабыл.

Так невозможно позабыть дыхание вражье за плечами
и одинокий сердца стук.

Семья... Боялся я разлук, боялся свет гасить ночами —
и жил.

Так тоже можно жить.

Причём обыденность легка: безденежье, успех, карьера,
сомнения, быт, гараж, покой, родня...

Но помнишь мир другой? —

ты помнишь ли? — другая эра! — ты помнишь? —
полночь, мост, река!

Ведь так бывает только раз, а может, вовсе не бывает —
но это было у меня! — ожог от лунного огня,
луна, луна не убывает — ты помнишь? — вся —
в мерцанье глаз!

И помню я: в ночной реке ночное зеркало таится,
в нём мы, отличные от нас, и так бывает только раз.

Изображение двойится, и мы — в далёком далеке...

Я так давно тебя любил,

что и не вспомню.

ШЛЯГЕР

Он за тобою в ад спускался, ему ты — горе и услада,
он с юностью своей расстался,
но выволок тебя из ада.

Как фыркала ты: «Нужно очень!» — узду внезапную почуяв,
как вздрагивала от пощёчин, как плакала от поцелуев,
ты ничего и знать не знала, не чувствовала, что за сила
так властно вас соединяла, так горестно разъединила.

Он смотрит на тебя —
и стужа, его лицо состарив разом,
не вырывается наружу, и всё привычно гасит разум.
Он смотрит сквозь тебя — и годы уходят с пустотою взора:
слепое бешенство свободы из сторожа слепило вора.

А над годами шлейф из пыли и гомон грязного вокзала,
и там, где вы когда-то были,
вас навсегда уже не стало.

Судьба, как туча грозовая, как стук в оглохшие ворота,
вас друг от друга отрывая, его спасает от чего-то.
«Орфей!» — кричат ему с галёрки, но миф — навыворот, и крика
не слышит он в чужом восторге:
ты оглянулась, Эвридика?

Всё прожито, что так томило.
Раз только сердце застучало —
когда вас всё разъединило, как прежде всё соединяло.

ВСЛЕД КОРАБЛЮ

Caelum, non animum mutant,
qui trans mare currunt..
Quintus Horatius Flaccus

Глаза напутствуют сушу, щепотью лоб осеняешь:
«Уехав за море, не душу — только небо меняешь».

Несчитанные исходы: сюжетам молча внимаешь,
уехав за море, не годы — само время меняешь,

созвездья смотрятся в лужу, чью-то тень обнимаешь,
меж рёбер чувствуешь стужу, жильё чужое снимаешь,

пространство в память длиною — дверь, лампа, стул у оконца,
глагол времён за стеною, свет, недержание солнца,

коктейль надежды и гнева, счастья нота одна лишь:
уехав за море, небо — оглянешься — не узнаешь

с чужими звёздами, где лишь свой небосвод обвиняешь.
Куда грядущее денешь? — на прошлое обменяешь? —

уехав за море, бессмертье на усердьё не сменишь,
всё отвергая на свете, куда грядущее денешь?

Господь опять поскупился дать глине обетованье,
коль кто с судьбою сцепился, тому и приз — расставанье.

Сам строил — сам и разрушу. Судьба, слепому пеняешь:
уехав за море, не душу — только небо меняешь.

Гнусный, однако, феномен.
Простимся, сын.
Я виновен...

* * *

В стороне от звёздно-подземных трасс
не было услышано — ветер стёр —
слово, вброшенное в безмолвный хор:
дщерь отца забудет — и сын предаст.

Пусть хоть так — не зря с допотопных пор
в Книге мёртвых якобы всё про нас:
сны обманут смертных — и явь предаст,
но ни снам, ни яви то не в укор.

Волчьей ягоды не сорви с куста,
не дремли у дружеского костра —
можешь ведь проснуться в последний раз.

Человек рождается без креста:
всё в ответ забудет и всех предаст —
мёртвый воск в глаза, горький мёд в уста.

* * *

ночью врубаётся звонче иных бензопил
и спальню трясёт как счётчик когда подключат «козла»
всё что спящий недовспомнил и недозабыл
пока средь добра и зла нищая жизнь возросла

тело уходит во тьму в уголь в песок в подзол
с ним исчезают ключи от всех потайных углов
память уносит в себе победы свои и позор
душа остаётся ждать когда же доставят гроб

надобно проследить как роют могильный ров
как на подушки выкладывают ордена
как осиротев молодеет вдруг отчий кров
где однажды заплакал сын где милая обняла

надо бы проследить весь тягостный ритуал
если уж вообще будет кому хоронить
дров наломал баловал любил губил ревновал
вот и сложился реестр общих слёз хоровых

и когда всё кончится и разойдётся толпа
отяжелев ногами от лютых налипших глин
влажная бросит вслед горсточку тепла
осень окрестных гор и скудных чужих долин

чужой в стране чужих средь родных осин
наследство да вот кому — средь ночи не осенит
архив с пометкой спалить смокинг что не носил
кем-то забытый шарф с надписью клуб зенит

ПОМИНАЛЬНОЕ

Вдаль по землям, тощим и тучным,
где надежды тянутся к тучам,
где, на тост отвечая тостом, припадают тучи к погостам,
вдаль по нивам, тучным и тощим, по эпохам, ждущим и точным,
по чертам на каменных стелах, по крестам в весёлых прицелах,
по ослепшим сгубленным рощам спотыкаясь —
Богу не ропщем,
присмотрясь к возлюбленным братьям,
на кого патроны не тратим,
вдаль по мигам, минутам, датам, свежевспаханным циферблатам,
ржавым смыслам, чужим стенаньям и несвежим воспоминаньям —
мы бредём путём виноватым.

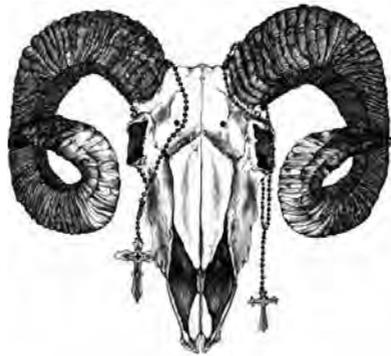
Тело — текст, ему ль не верстаться? —
Господь простит, чтоб расстаться:
ведь простил же земле и небу, неучтённому ширпотребу,
диамату и сопромату, и солдату, и автомату,
и беспамятному скелету, с ходу переплывшему Лету,
что струилась в микрорайоне, отражённая в ржавой кроне...
Ведь простил — отупев от исков, рисков и поминальных списков:
плоть отмучилась, отлучилась —
ведь простил всему, что случилось,
и всему, что мы сотворили!

Но врата, на створках натужась,
нам — грядущее отворили,
и мы видим
ждущий нас
ужас.

1965–

Иду по кромочке —
нагой
между добром и злом —
и трогаю босой ногой
борьбу воды с песком.
Я знаю:
ночь сменяет день,
как рай сменяет — ад,
так будет тысячу веков
и каждый миг подряд.
Меня убили — я воскрес,
в язычестве — крещён,
что это —
тернии небес
или тяжёлый сон?
Я слышу ястреба в груди,
безмолвный страх травы
и много горя впереди
и Божий лик в крови.
Не наш, твердят мне,
не таков —
на стыке рас и вер!
Пусть — слеп, пусть я из дураков,
мой праотец — Гомер.
То покупают,
то казнят,
то ад сулят, то рай.
А мне лишь хочется узнать,
где у земли есть край.
И все по лезвию иду,
шатаюсь —
да не упаду.
По кромочке нагой —
дороги нет другой!

РУНА



* * *

В глубоком колодце на дне не увидеть звезды,
глухая вода замирает в немом отрешенье,
и привкус забвенья, похожий на привкус беды,
в невидимом зеркале видит своё отраженье.
Но малая птаха ещё до рассвета поёт,
и песенка эта в темнице пустой раздаётся,
и медленно падают чистые камешки нот
на сладкие воды, на горькие воды колодца.
Тоска о звезде?— нет, о песне, ведь песня теплей,
иззябшая гладь потянулась безмолвно за нею,
воробушек серый сражается с царством теней,
и чёрная влага — пронзительней и солонее.

БОГ ЕСТЬ ЯЗЫК

В память о М. Л. Гаспарове

...Удалился философ,
Чтоб лопухам преподать геометрию неба.
Н. Заблоцкий

1

Он умер, как сам и предвидел: удел мудреца,
так скажут сироты-филологи. Это, однако,
неправда. Но что это всё же, судьба иль отвага? —
от смерти, от жизни, от ветра не прятать лица,
предвидеть финал этой подлой прекрасной игры
и, с прежней улыбкой являя свою крутолобость,
сквозь муть опечаток искать лишь единственный логос!
А, впрочем, и эта стезя — до поры, до поры...

2

...Как в юности рвёмся в тот фокус, из коего нет
возврата — в его, с кривизной иль сеченьем пространства,
анналы, о нас повествующие беспристрастно,
в сады, катакомбы и прерии дней или лет,
воссозданные паранойей из тех, что до нас
уже не дошли, бесконечных, бескрайних вселенных,
но до расширения совсем беззащитных, мгновенных,
нечитанных текстов, эскизов не выросших рас...

Язык.

Минотавр виртуальной подкормки!

Язык,

пустая вселенная, без середины и края,
колода реальностей, до воплощенья — немая,
цепочка значков, узелков, ненаписанных книг,
неистовый форум, метафор стоглавый дракон,
алголов глаголица и лицедей лексиконов,
двусмысленных истин творец, сопрягатель законов
и сам в этом смысле обретший себя как закон:
о, вспомните, дьяволу взнос за бессмертье — душа,

но есть у души и вторая цена роковая —
за знанье речений земли душу злу отдавая,
за дудочкой шли мы, тропой любомудров спеша.
Гигантская бездна, где всё поместиться смогло —
история вечности и сотворение твари,
свеченье фаворское, мгла одуренья в угаре,
и числа, и смыслы, и благо, и прочее зло:
вглядеться в тебя, отшатнуться —
но поздно,
и Ты
воззрится в ответ в протоплазму, что мучит фонемы,
за шаг до сознанья, что все мы — конечно же, все мы! —
Твои порожденья с тех пор, как отпали хвосты,
мы, блудное чудо, но Божье творенье при том —
и тешимся вечно, от гордости тварной зверея,
то речью ручья и вполне тростниковой свирелью,
ухмылкой сатира, то вдруг бессловесным огнём!

3

А Ты чего ждёшь, предлагающий сделку всем тем,
чьи души во мгле Языка не приемлют покоя,
что с нами, Отец, сотворил Ты однажды такое:
всяк, мучимый словом, вовеки не понят и нем.
Откуда, откуда печаль эта, привкус беды:
в мгновенья, когда мы пронизаны блещущим миром,
от жажды легко умираем над плотью воды —
за что же нам это даровано, глупым и сирым?
Вначале («в Начале»!) вещает пророчеств дневник —
лишь Слово, баллон с кислородом для нищего духа,
а позже всё сущее в мире для зренья и слуха —
слова, вдруг обретшие силу? — нет, дело не в них.
Часть Речи, что каждый как Божию силу обрёл, —
праматери-матрицы разум, дарован игрою,
в руках геростратов воняющий нефтью сырою,
не имя, не имя, не имя — но некий глагол! —
на сердце пометка, рулетка всех наших надежд,
плевок озаренья, что змием приткнулся на древе,
геном преступленья, до времени спящий во чреве,

дитяти в зелёном побеге крылатый мятеж!..
Как истинный (кто сомневается здесь?) демиург,
Ты ярк и щедр — и всегда откровенно стержовен
и мелочен. В целом же, над микроскопом, Ты грозен
и неотвратимо системен, ведь мы — дело рук...
Ты счастлив: адептов своих наказал немотой,
коротким дыханьем и горьким похмельем — поэтов,
за то, что тревожат вопросы, где нету ответов,
за эту подглядку в Твой внутренний тягостный строй.
Понятно, что жизнь наша так нам порой дорога —
ведь тварей своих Ты повадкам учил монетарным:
несчастным слепцам подарил лабиринт с минотавром,
и сверху глядишь — сколь милы тараканьи бега!

4

...Филолог он был и творец, чернокнижник и раб,
свободен, бездомен, он — помнишь? — стоял у порога,
толмач безъязычья, таинственно чующий Бога,
тангейзер, не чущий итога. Как худ был, как слаб!
Аскет и мудрец, он себя посвятил до конца
Тебе — в человеческой купели и в доме из камня,
Тобою с рожденья наказан — тоской заиканья,
громадой безмолвья — и мыслью, восшедшей в сердца.
Эпоха прошла. И другие за ней. Потому,
от яств отвратясь и постигнув игру человечесью,
он голос обрёл — и к Тебе повернулся навстречу:
узрел пустоту, но о том не шепнул никому.

...Я мальчиком Слово услышал, когда он разъял
и вновь возродил беззащитный и радостный атом.
В году это было, припомню, 69-м,
о странствиях вечных, о строфах цепных он сказал.
Что ж, жизнь опустела. Пришёл понимания миг.
Вот призрачный храм Твой, сиречь Вавилонская башня,
я Слово услышал, теперь помереть мне не страшно —
что «Бог есть любовь» не уверовал:

Бог есть Язык!

В час, когда усмехнулся Создатель миров:
«Наваял я, однако!» —
и на нищий неназванный отческий кров
свет спустился из мрака,
в час, когда утомился Создатель картин
и над елями склона
коматозный рассвет ветерок закрутил —
и качнулась корона,
в час, когда над росистою кручей табун
волчье эхо взметнуло
и в томительный миг чесучёвый трибун
зад отклеил от стула,
в час, когда задохнулся сановный старик,
не доеденный славой,
дольше века толпою расхватанный миг
для в разборке кровавой, —
ошавевший от горя в людской кабале,
очумевший в скитаньях,
пегий пес уплывал на большом корабле
с погонялом титаник,
и забился, дрожа, под колючий настил
человечьего дома,
и железному чуду все боли простил
в предвкушении грома,
и когда пронизал корабельную плоть
древний ужас удара,
стрелкам снова сойтись заповедал Господь
в силу Божьего дара,
и последний герой, что присел на иглу,
что на свечку не дунул,
с облегчением выдохнул в вечную мглу:
«Айсберг. Так я и думал...»

ВЕЧЕРНИЙ ПЕЙЗАЖ

Щекочет ноздри прах веками прежними,
отар на склонах гаснет пентаграмма,
кружась, ткнут облака над побережьями
свой млечный холст — для парусов адама.

И правда сумеречна здесь, и кривда,
в ущельях скалы рушатся упруго:
конец пути, парк тюркского периода,
тьма, перекрестье мелового круга.

Где колыхалась песенка пастушья,
за ветер зацепившись покрывалом,
рвёт дёрн людская молвь дикорастущая
своим адреналиновым оралом.

И рвётся прочь от этой грязи вверх, куда
ей путь заказан с тысячного года,
душа — и плавает в зрачке у беркута
горнило золотого небосвода.

И там, где вновь расцвёл костёр кочевника,
где тих туман, в лощинах оседая,
прикурит от горящего учебника
вечерняя зарница молодая.

ФИРДОУСИ

...Над голодным тифом
И солёной паршой степей
Лунный выкормыш — соловей.

А. Тарковский

Над каламом зябнут руки. Лебедь лебедицу кличет.
Сколько лжи — и сколько муки, суесловья — и величья.
Где ветра мотыжат склоны, мертвым кураём играя,
возникает изумлённо смесь розария и рая.
Героиню и героя через сонмы злоключений
переносит некий гений. Ну и ладно, Бог с тобою.
Не приткнуться в том рассказе гнусной правды плагиату —
тусец лепит нам из грязи радужную шахиаду,
беззащитной вещью ложью устилает путь тернистый
к безусловному подножью нищей стаи вечных истин.
Не впервой и не однажды это всё в нас отзовётся:
у отвыкнувших от жажды зря ли высохли колодцы? —
в самаркандах или римах мир исхоженный огромен
от надежд неизмеримых до измеренных оскомин.
Но — идти, лицо и сердце беззащитно обращая
к человеку (что за средство, что за горький хлеб — я знаю),
за мечтою незакатной, за её неверным светом...
И не повернуть обратно.
И не пожалеть об этом.

ЯЗЫКИ

Памяти

Клары Джидеевой-Карынкуловой

Вскрик гортанный, киргизская речь. Так весенний ручей
что-то силится вымолвить талому склону горы.
Эта звонкая гласная вязь, несомненно, прочней,
чем её окружившие каменные миры.
Так на смуглой руке оживает старинный браслет —
из серебряной вспышки восходит огонь родовой:
материнский язык о родстве запоёт над землёй,
а отцовская речь загремит о забвеньё побед.

Рядом вспыхнет родник, словно гиперборейский сапфир,
русских звуков несёт он значенья — и пахнет, как снег:
талой влаги хлебнёшь, и в душе, как расколотый мир,
отзывается нега разбуженных медленных рек.
Жизнью полная — рвётся жестокой поэзии нить,
что связала нас мудростью древней смертельной игры:
материнская речь породнит своим плачем миры,
а отцовская речь будет чуждую кровь леденить.

В рудных безднах пробьются к слиянью слепые ручьи,
и безмолвье нарушится — слабое Слово найдёт
к двери тёмной вселенной простые, как сердце, ключи,
путь откроет, и в души спокойная мудрость войдёт.
Только жизнь так мала, чтобы в небо ворваться без крыл! —
вспомним близких, ушедших — надежды отчаянной миг,
что когда-то постигнем тот вещий всеобщий язык,
на котором с пророками молча Господь говорил...

ОКОЛОКОЛОДЕЗНОЕ

Wenn du lange in einen
Abgrund blickst...*

В сих глубинах тебе, любезну, не светить себя дотемна:
ты ли пялишься, братец, в бездну —
бездна ль вглядывается в тебя,

равнодушно, небрежно, жадно льёт прохладу подземных снов.
Оторвёшься, сбежишь — ин ладно,
всё равно вернёшься без слов.

Улыбается одиноко беззаветная пустота —
потайное око Бога,
мгла,
немереная верста.

Змия царственная услада прогрызает твой небосвод,
но всего, что ей, тёмной, надо,
у тебя она не найдёт,

мглу ничтожеством не утетишь,
ты ей скучен своей тщетой,
ноты в памяти не удержишь — чёрной, горестной, золотой!..

Отойди, мужик, от колодца, не дразни его глубину:
бездне мало что остаётся,
когда мир отходит ко сну.

* Если долго вглядываешься в бездну... — Ф. Ницше (*нем.*).

ПАМЯТИ ЗАБОЛОЦКОГО

Кончается сон шелкопряда,
но яви не явит земной
червя земляная отрада.
И некто приходит за мной:
взлетаю — и сердце, как птаха,
впервые разжались тиски
привычного смертного страха,
привычной смертельной тоски,
и вижу, как ввысь, по вселенной,
со всем не смирясь на земле,
душа автогонщика Сенны
летит на измятом крыле,
как, всхлипывая и смыкая
пространство под ужасом век,
бескрылая жизнь, возникая,
срывается в гибельный бег,
как молча уходят составы,
нагружены судьбами тел,
и в легких уставшей державы —
творенью меловый предел...
И тот, кто у кромки балкона
внимал неизвестной грозе,
отдаст свои муки покорно
паденья бесплотной стезе,
прости ему краткую муку
до срока впечататься в твердь,
и выдох, и слабую руку,
дрожащих молитв круговерть:
а тело пойдет по погостам,
присматривая, где прилечь
согласно кладбищенским ГОСТам —
и сбросить грядущее с плеч.

САМСОНИАДА

Припомним недобрый сюжет,
неспешным изложенный стилем,
о том, как библейский атлет
спросонья лупил филистимлян,
о том, как на тысячи лет
в анналах он жив невесёлых
уж тем, что наделал им бед,
громя неповинный посёлок.

Припомним — и нашей душе
предстанут знакомые дали,
и важно ли нам, что «шерше
ля фамм!» много позже сказали.
Далила была молодой —
и с лёгким всеядством во взоре
следила, как дюжий герой
соседей калечит на взгорье.

Наш молодец в местной тюрьме,
и патлы ему обкорнали.
Но зреет прообраз в уме
трагически ясной морали,
из глуби нездешних веков
доносится тезис, извечен,
о скудной тщете дураков,
о мудром предательстве женщин.

И закономерен финал —
и вряд ли виновна охрана,
и рухнула на сердце нам
громадина грубого храма.
О, Книга!.. Твою ли печаль
полить поколениям елеем? —
чего же нам всё-таки жаль,
о чём мы бессмертно жалеем?

А жаль, что премудрые лбы,
столкнувшись над свитком завета,
не слышат, как рвутся столбы
под жаркою дланью атлета,
как слабый теряется след,
как глохнут реченья и смыслы
и гаснет в нас вложенный свет
сердечной божественной мышцы.

Как странно! — надеемся, ждём,
и вечные истины слышим,
при этом так мало живём,
при этом так загнанно дышим...
Кругом — что ни храм, то стена,
ничтожество ищет величья,
и жизнь бесконечно длинна —
короткая до неприличья.

ПЕРВОЗВАННЫЙ

Памяти Андрея Вознесенского

мне шестнадцать мы солнце зажгли
прочитали секреты земли
исповедемся во весь голос
аве оза серебряный зов в юном небе серебряный шов
свете тихий звезда прокололась
озаренье смятение борьбы зов трубы ощущение судьбы
непонятной шальной первозданной
в охрущёвленной мгле октябрей имя слову звучало андрей
первозванный

мальчуган молодая москва первые молодые слова
партбюро смутный холод погони
я тетрадку андрею несу промокашка душа на весу
вдох как птица в ладони
нищей юности щедрый улов голос колотых колоколов
суматошная высь предсказаний
мир соборный внезапно добрей ибо так заповедал андрей
первозванный

изумлённого знания знак просветлённый андреевский флаг
рисовальщик российского слова
полиглот улетевших годов где я к прочим трудам не готов
и не жажду улова
первый гамлета хриплый урок первый водки колючий глоток
воробей на пари с паропланом
старшеклассник заоблачных гор
словом полнится свод сакре кёр
первозванным

всё в новинку отметят не раз лучики у смеющихся глаз
богуславская ангел дамасский
книги шкаф запрещённых имён как шумит надо мной аквилон
долгожданной оглаской
в этих антимирах позолот на таганку с собой позовёт
контрамарка вдвоём с парижанкой
строчки дней золотой перелёт алый кактусовый переплёт
первозванный

над котельнической в ноябре серый ветер на синей заре
 бонуар гумилев серп-и-молот
ни врагов ни голгоф ни флажков вновь охота идёт на волков
 гаснет звук летаргический холод
 не предвидеть столетий кривых
 не видать смотровых домовых
 дымный вечер зовёт перезвоном
зря ль над пропастью где-то во ржи по таким голосили киж
 первозванным

первым зван у богов на пиру начинал ты игру на ветру
 мировом бесприютном желанном
 ах как жизнь пролетела легко высоко это всё далеко
 в белом парусном сне магелланном
 пусть останется в этом краю в этом вещем аду и в раю
 в некий век золотой предзакатный
на немислимом срезе времен русской яви несбывшийся сон
 первозванный

для кого он сегодня горит твой серебряный метеорит
 в неотзывчивой мгле остывая
в неподвижной пустыне небес без обмана без истины без
 отголоска земли узнаванья
 оборвался твой голос давно новое забродило вино
 тяжек крест юным нехристям данный
 в мельтешенье бурлящих годин будет много других
 ты один
Первозванный

ОДА ПИШМАШИНКЕ

уродец века золотого
трескучий жертвенник души
железка акушерка слова
не выношенного в тиши
но все ж белеет парус топлес
на чёрной буквенной канве
и холодеет в сердце доблесть
и скиф тоскует на коне
облагорожен обволошен
в чем мать известно родила
наедине с тобой волошин
переведёт эредиа
и скольких лгуний ни кори я
и скольких тварей ни корми
таинственная киммерия
взойдёт в какой-нибудь перми
перу гусиному подспорье
стальная музыка стара
глаза закрой приснится море
неназванные острова
и снова степи топот конский
но спрячет материнский дар
печальный старый антокольский
в футляр дрожа как антиквар
навек ты буквы разметала
коль Словом всё отозвалось
на чёрном лаке рейнметалла
частицей крови запеклось
все опечатки да ошибки
жизнь перекраивать решив
выстукиваю на машинке
судьбы испорченный мотив

ХРАНИТЕЛЬ ДРЕВНОСТЕЙ

...не сдадим Гибралтара!

А. Цветков

1

измученный беглец забвенные года
костер из пыльных книг казахская столица
российской зауми растерянные лица
культурных мук страда смертельных рек вода
хранитель — но чего? — в аркадах растворён
в витринных заревах в потустороннем блеске
в изломах скорбной бронзы в оглулённой фреске
в смешенье летописей в толчее времён
в надтреснутой тоске палаческий топор
недрогнувшей руки хранит посыл железный
кипчакской конницы ваятель бестелесный
пахан аланских гор созвавший беломор
сквозь численник эпох он в сонме эвридик
где на щеках орфей беспамятного взора
с ветхозаветных пор вор ждущий приговора
блаженно к роднику познания приник

2

Юрий Домбровский шестьдесят девятый год
и оттепели крах и культу обрезанье
за черепом своим приходит обезьяна
но позабыла путь и плюс куда ведёт
музей обрубков тьмы где Азия и Русь
в имперской тесноте и сытости консервной
сошлись на точке под названьем город Верный
а он и впрямь был верным в этом поклянусь
печальный таракан районный геродот
поскрёбыш-палимпсест британний и италлий
где взора слепота и теснота деталей
тоннель в чужую боль рот-фронт пророет крот

3

что прячется во тьме кто плачет там во мгле
что значит там в окне мгновенье силуэта
чей зайчик солнечный столь жданного ответа
улыбка на холсте и фрукты на столе
полёт высоких волн небес бездонных твердь
неузнанного зла незрячая гримаса
забытый возглас сна расколота ваза
и полевых цветов задержанная смерть
Домбровский водку пьёт а как её не пить
свершилась конференция литературоведов
и Эткинд с Жовтисом неплотно пообедав
столетье ленина стараются забыть

4

глагола охранять с глаголом сохранить
уже не породнить и несогласных вешать
инопланетных сфер возвышенная нежить
нам свыше разум дан чтоб прошлое забыть
вот поезд пролетел качнулся колосок
душа взлетела к выси звон прощальный долог
хранитель где зеркал неведомых осколок
поймавший луч звезды стучащейся в висок

L'ART POÉTIQUE...

Масонская наука, запроданный мираж.
И всё же ты ни звука, измучась, не продашь.

Пусть взор её доверчив — но в глубине зрачка
лик века гуттаперчив и голодна тоска:
она из тьмы пещерной нас вывела, дика,
не ведая прощенья,
на свет праязыка.

А время кость крутнуло — и всяк вопит: лечу! —
от массовой культуры к кастальскому ключу.

Словесная забава, припев, притоп, прихлоп,
незримая держава, где всякий принц — холоп,
прищур, игра, приманка,
но сердцу невтерпёж
двусмысленность прямая и косвенная ложь,
а там, где всё постыло, где мир — в тартарары,
перед лицом пустыни пусть —
правила игры!..

Играй же, в рифмоплётстве растрачивая цвет:
в юродстве и сиротстве твой путь,
иного — нет.

Играешь — будто ранишь, но ранишься — сильней!
Зачем же ты играешь? — затем, что нет родней
на ощупь узнаванья, прозренья наугад:
ослепнуть, изнывая,
но мир увидеть, брат!

А сердцу мира — мало, где рядом власть и страсть,
где правда от обмана — ау! — не отеклась
и где от отреченья, как видно, не дожить...

Не придавай значенья, не стоит, брат, тужить,
сквозь зеркало пустое — светла, как никогда,

счастливица и изгоя всеобщая звезда.
И пусть стучатся в двери — ключа такого нет,
чтоб выдать чуждой вере верительный билет,
пусть падают книгам с полок — ещё не рассвело,
пусть слово — льда осколок,
но в глубине — тепло,
пусть сердца каждый атом повысмотрят на свет
патологоанатом, литературовед.

Играй же безутешно — бессмертен твой мятеж,
покуда есть надежда!

Хотя и нет
надежд.

ЧУЖОЙ АЛТАРЬ

...и ты остави вѣру свою на Руси...

Афанасий Никитин

вокруг чужая земля
Господи воля Твоя

у камня алатыря где тварь взыскует творя
веси прошёл и моря аз Твой дом посетил
блуждая среди светил
под солнцем чужим и дождём
паук в огне янтаря на чужбине рождён
в заботах о нищем жнивье забыша имя своё
но чаяний не тая

горька чужая земля плоть чужого зерна
держу бессловесный пост
один как камень со звёзд
чужой здесь даже погост

Господи воля Твоя
иже Твоя свирель приручает зверей
монастырей менестрель мимо пуль мимо стрел
время летит всё быстрее
уносит мимо меня даты и племена
утраты и имена трикраты всё кляня
мирское смиренье острей

на дне азийских зыбей спит апостол Матфей
вымолвив Благовест вымолив горький крест
иных забот не алкал был тоже чужим алтарь
мука и нега валгалл ангел гадал и лгал
чужой итог бытия
и на это воля Твоя

камень выдавший ад мор пережил и глад
встал трёхвершинный балбал
тмутараканский болван
руны чужой раскат

душа болит об одном
мать Умай в обличье земном под тенгрианским окном
небес безразличный свод
в цепи порвётся звеном Мухаммада ночной полёт
логос полный грозы откроется для побед
но млечный путь в ответ не прольёт и единой слезы

Господи воля Твоя
неотвратим Твой лик
познаем истину книг отшатнувшись от них
коли велишь Ты велик
*«чужому алтарю отдай молитву твою
в грааль чужой излей пламя крови твоей
кривды их распрями муки за них прими
ибо в тени теснин всяк из вас Божий сын
в толпе средь многих один»*

Господи воля Твоя
Тобою взят в сыновья
Твою дорогу торя замру у алтаря скинув прохаря
отвернись от меня заря
лики чужих богов воззрятся на путь земной

услышит чужие слова
беззвучно заплачет сова
надо мной

ГОНЧАР

Памяти Мелиса Убукеева

1

Знал: мне расстаться с кочевым уруком* —
а вечной скачки не было милей
под солнечной палящею пургою,
сквозь гром копыт и звёздный рой впотьмах! —
вот к незнакомым радостям и мукам
пришёл и замер у чужих дверей,
приникнув к цифре, слову, перегною
чужих трудов, тревожа смутный прах.

2

Кружись, удел мой, коль ты не поруган,
и отзвук духа дерзкого разлей,
тьма в амфорах откликнется покою,
коль глина стала пламенем в руках! —
к рассветным землям и тревожным рудам
льнут флаги финикийских кораблей,
зерно, оливки, сплав лозы с грозой,
и боги дремлют юные в волнах!..

3

Ссутулившийся над гончарным кругом,
вершу я круг земной в душе моей,
тот, что часов неслышимою рою
был брошен на съеденье впопыхах,
цепь соответствий рву в родстве упругом
с землёй, и воздухом, и мглой морей.
Всё — прочь! Одно останется со мною —
смешенья дней неисцелимый страх.

* Урук — род, племя, точка самоидентификации (*кирг.*).

Я стар. Моих трудов разбитым грудам
тысячелетий славный груз родней,
хоть и полны сосуды — пустотою.
Пространство шепчет, длясь во временах,
мне — имя Бога. Мир не станет другом.
Мертвы — огонь, что плавил глину дней,
и череп, что смирился с красотою
и прячет взор в забвенных черепках.

* * *

Александрю Князеву

Зри пределы суши людской и земной воды,
летописец битв, воздетый на копья в урочный час,
ведь покуда хватит пространства и жадных глаз —
всюду поступь алой, синей, чумной, золотой орды.

Профиль ночи нацелен в наш круглоглазый фас,
воскресенье отложено в принципе до среды,
проржавевших гусениц в наших домах следы,
мы кричим всё о том же — но кто же услышит нас?

Конь издох, шлем истлел, да и кости давно белы,
азраил по стремянке спустится со скалы,
тощим серым крылом слегка отгребёт песок,

старым посохом толщу времён пронзит —
и откроется третий глаз, где солнце вошло в висок,
и вздохнёт архангел: «Ещё один чингизид!..»

ШТРИХИ К ЧУЖОЙ ИСТОРИИ

родится город в белом мраке поднимет веки друг богов
шаманы каждый в чёрном фраке на будь готов всегда готов
плотина над катком медеу однажды рухнувшая в ночь
доверчивым юнцам и девам ты новой смерти не пророчь
сюда пришли ловцы удачи и высушили русла рек
и был на площади для плача направлен нужный имярек
он просветил и упокоил и затхлой правдой накормил
восшед над черепицей кровель был местных барышень кумир
он вариант апостол павел и тоже к знанию приник
при этом самых местных правил сам чингизид-налоговик
храбрец фискал слуга народа он из него происходил
на белый порошок восхода он полдержавы подсадил
евразии тяжёлый климат надежды градусник чумной
но прежней веры не отнимут и кремль с китайскою стеной
в морозных небесах неместных седых вершин туберкулёз
да в выражениях известных кровопускание берёз
но сдал на будущность экзамен и согрешил в борьбе со злом
орёл осыпанный звездá ми на слом отправленный послом
сторел сократ сладка цикута за гранью прожитого сна
мечта ацтека и якута столица вечная весна
молчал акын звезда мерцала пиджак состарился от звёзд
из благородного металла медаль за пригород-погост
поскольку отпылали маки и утру краткому взамен
явился город в белом мраке целинно-залежных земель

ФОТО НА ПУТЕВОДИТЕЛЕ ПО ИЕРУСАЛИМУ

...В временах жребия земного.

А. Пушкин

Горит восток зарёю ближний — и шестидневная война,
как и предсказывал Всевышний, иных пьянит сильней вина.
Честолубивого итога здесь ожидали, видит Бог,
отбросив гога и магога за их невидимый порог.
Как некогда во время оно — от крови скользкая тропа.
Под стенами Иерихона счастливая поёт труба.
Осыпанная пеплом слава. Полудержавный властелин,
столь триединый величаво, звучит: Наркис, Даян, Рабин.
Мир пахнет порохом и кровью, как в День творения Шестой,
оборотясь к средневековью и встав в грядущем на постой.
Сии птенцы гнезда Сиона в временах жребия земного
идут, сомненьем не греша,
века ряды свои сомкнули, в их юношеском карауле
мягчеет старая душа.
Смоковницей и виноградом сочтут века. А в остальном —
всё тот же плач, всегда он рядом:
— Авессалом! Авессалом!..
Но нет, победы миги сладки, мир на коротком поводке —
и гордо стиснуты перчатки в мошедаяновской руке,
вновь древней распри юный возглас,
и снова, словно на века,
реанимированный возраст гордыни, Бога, языка.
И, древнею лозой обвита, как в День творения Шестой,
горит, горит звезда Давида
над Соломоновой звездой.

ГЕКТОР

Открою глаза перед тем, как умру —
сие подобает герою,
где Троя горит, словно лист на ветру,
где Троя...
Доспехи надел я, в забвеньи шагнул,
и честь, и жену оставляя.
и слышу — вселенский доносится гул
у края.
Я смертник, не верю я в жертву свою,
она не окупится бойней,
не станет, когда я паду, где стою,
спокойней.
Утрою усилья — и кончится бой,
с тобой мы не встретимся, старость,
стена городская над гладью морской
и — парус!..
Усни, приамид, на краю пирамид,
во взоре смятенного строя:
безмолвствуют боги и море гремит
и — Троя.
Уснет наша память: смертельны века,
вчера недалече и завтра.
Забвеньи предсказано, доля легка.
Кассандра!..
Одна только ты понимала, что зря
Ахилл истязал мое тело,
и жертва напрасной была, и заря
глядела,
как сох виноград на троянском валу,
как вечер растерянный плакал,
как медленно прятался в глупую мглу
оракул,
как, не уставая кровавых камней
изрубленной грудью касаться,
я влѣкся, как вера померкла во мне,
Кассандра.

Мы в смертное только мгновенье поймём,
какое в нас мучилось пламя,
как стали для мира Троянским конем
мы сами.
Надежда мертва у Микенских ворот.
Глаза я векам не открою.
О, Троя, о сердце, чей рухнул оплот,
о, Троя...

ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЗДРАВИЦА

...выбрала место для сна!

Елена Шварц

детство день подоконник
жизнь обманутый сонник
шпиль мечты и злодейства
ветер
адмиралтейство
чахнет время скудеет органика
гаснут очи всеведущих тварей
лик спецназовца сердце ботаника
допельгангер куды ж ты в гербарий
долгожитель в обличье изгнанника
милых лиц молодой серпентарий
врач с косой и ухваткой охранника
исцелёж новолуний и хмарей
тени скорбные краткая паника
фейс-контроль горний свет колумбарий
не спросясь беззащитного странника
дожевал без метафор дендрарий
черепки лик бездомного данника
нумизматика траурных арий
первопуток
дорога канатная
жизнь расколота натрое
пропускают без няnek
знать и там обезьянник

СОВЕТСКАЯ ШКОЛА ПЕРЕВОДА

там где толпились соперники сохнут ряды поределые
прежней эпохи коперники рядышком спят в переделкине
хор отошедших поделников голос Ивана Великого
в мятой толпе понедельников шрифт поминальника дикого
хищная тризна словесников да большевистское зарево
новые толпы предвестников
всё начинается заново
вот откровенье весеннее чудится странствие дальше
трепетное воскресение вербное многовербальное
пусть и пришли ненадолго мы у ойкумены на краешке
и спасены и оболганы дышим в замёрзшие варежки
что за чумная процессия стадо чтецов и отшельников
мерзкая в целом профессия кривдою тешить мошенников
тягостное заблуждение необоримого искусства
благодное наваждение неопалимого дискурса
век отсвистит и отлается кодла исчахнет ровесников
смердов мечтающих кланяться и ненасытных наместников
девы пречистой паломников или мамоны поклонников
тонкого мира толковников в штатском но явно полковников
ведь на поверхности глобуса стала прозрачнее волоса
сила Господнего логоса плотью всеобщего голоса
берег не ведомый голубю связаны силою некою
ганг с иорданскою прорубью и воркутою и меккою
где мы и что мы утратою памяти полнится матрица
полуслепые крылатые где не поётся там плачется
коль переполнены трудною явью прекрасной и страшною
вечною литературндрю под вавилонскою башнею
в неустановленном почерке взноса заклятие членского
Божьей судьбы переводчики на неродной с вифлеемского
отзвук небесного времени нищего слога величие
фёно ушедшего племени прячем от мглы безъязычия
в степи мунгальской татарии некое аки знамение
в ссылках экзархи болгарии и книгочеи армении
в небо возносимся синее многоязычной химерою
равноапостольной силою разнокалиберной верою

да мы кириллы мефодии душ невзраченных властители
и страсотерпцы мелодии и недоумков крестители
в мире грядущем и брезжащем жить нам и чуждым и ропщущим
но не скукоженным лежбищем
а минотавровым
поприщем

ВСПОМИНАЯ МИХАИЛА РОНКИНА

Во Фрунзе — вспомним прошлый век! —
был пик гуманитарных нег
и всплеск интернационала:
Шестидесятые года, проснувшиеся города
на пачке Беломорканала.

Был старше нас один поэт, увы, его на свете нет.
Был не однажды им уронен
автограф в денежной графе, червонец на чужой софе,
с веселым росчерком: «М. Ронкин...»

Спокойный дружелюбный дар, универсальный гонорар
да щедрость добрая с друзьями:
либретто, телерепортаж, поэзии крутой вираж,
а в картах — навсегда при даме!

Он нас учил. Его слова — жестокий облик мастерства,
а не пустячный миру вызов.
Динарий кесаря узря, переводили мы не зря
различных пламенных киргизов.

И в этом таинстве лихом я был его учеником,
из лучших — страсть проникла в поры.
Он, мудрость древнюю влача, умел в искусстве толмача
узреть предначертанья Торы.

Над дяди-Мишиным лицом очки сияющим венцом
взлетали в дружеской беседе,
кружилось время, как листва: умел он смутные слова
спокойно прояснять при свете.

Когда сидели до зари, твердя мгновению: замри! —
романтиков не баловали,
и часто был судьёй стихам гранённый прозою стакан —
и музы с нами выпивали.

Под дяди-Мишиным крылом никто из нас не стал мурлом,
а если кто-то взял да спился,
тот сам и вышел виноват: знать трусоват и слабоват,
чтоб к близким звёздам прыгнуть с пирса.

Под дяди-Мишиной звездой за каждой девой молодой
мы шли — нам был отпор неведом,
и были помыслы чисты, и если дам вели в кусты,
то музы были там при этом.

За дяди-Мишиной судьбой не реял сумрак голубой
над гипнотическим роялем:
народ — в поля, в цеха, в забой шагал, но чаще шёл в запой —
за далью даль и Даль за Далем.

Когда евреям вышел срок, на Ближний, стало быть, Восток,
он отбыл. Вроде не прощался.
Что делал там? Проулки мёл, писал стихи, колонку вёл,
и долго жил. И вот — скончался.

Я верю: где-то за бугром (то бишь уже на свете том,
где не был я ещё ни разу,
а дядя Миша там уже — и, полагаю, в кураже)
мы встретимся, не скомкав фразу.

Всех нас когда-то свёл Иов,
мы знаем всё без лишних слов,
коль уж в прошедшее вернулись.
Друг другу скажем «Ну, пока!»
и рюмки шевельнём слегка.

Всё!
Вот теперь мы — разминулись...

НАМ НЕ ДОЖИТЬ, КЕНЖЕЕВ

Бахыту Кенжееву

1. НАЗВАНИЕ

в пламенном потоке ветров и соли
неземная музыка нам играла —
где стоишь ты там и твоё застолье
ибо эмигрант и сын эмигранта

та же смесь бездомной любви и боли
всем иным обещанная награда —
где умру я там и моё раздолье
ибо эмигрант и сын эмигранта

всяко в сердце сложится но дотоле
мы чужих одежд вроде не носили
не молили Бога о лёгкой доле
неприлично просить — мы и не просили

вот бы дом построить да только кто там
станет жить в безвизовом этом гаме —
за недалним знаешь ведь поворотом
глядь и нас потащат вперёд ногами

от судьбы не будет нам эвтаназий
менестрелей стреляных мир астральный
вне примет америк европ и азий
атлантид и прочих иных австралий

2. ВЕЧЕРНЕЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ВЕЛИЧИИ

С тех столетий, когда нам монголо-татары
обрубали мослы,
во главе нашей общенародной отары
пребывали козлы.

Пышноусы, осанисты, седобороды,
еропланы, метро,
если где министерство, всегда — обороны,
тройка — политбюро.

И вели нас по чахлым библейским трущобам
там, где бездна без дна,
удивлялись: «Чо надобно, падлы, ещё вам?»
Чо — мы сами не зна...

На великом пути ни хрена не колеблясь,
лишь в объятиях масс,
если выживем утром — то вроде бы энгельс,
окочурился — маркс.

То под плетью орать, то охаживать плетью,
вместе нежность и злость,
твою мать! — лишь граница настала столетью,
всё опять началось!

Но теперь мы умнее и ревностней стали:
Властелином Колец
наконец-то в отцы нацменьшинствам поставлен
истый альфа-самец.

Он по миру идёт, сберегая осанку,
излечив гайморит.
Знаем: старую американскую самку
он-то — уговорит!

Лишь такой и нужон в судьбоносное время:
он поймёт наш порыв
и всех нас, шерстяное безмозглое племя,
приведёт на обрыв!..

Современники, вновь наши гроши за рыбу,
что поймать не смогли:
нас не треба вести ни к какому обрыву —
мы и сами пришли.

3. ЛЕТАЛЬНОЕ

Летят перелётные птицы...

М. Исаковский

Летит небосводом кенжеев,
как путин гусей во главе,
Разумное разом посеяв
и Доброе бросив молве,
но Вечное всё-таки прячет —
безмолвье его выдаёт.
Планета бескрылая плачет —
рисует ему недолёт.
Он быстр — как ильич на субботник,
стремглав — как шагал на шаббат.
А где-то завистник-охотник
примучил к щеке автомат.
Полёт, направляемый свыше,
бездонного неба стена! —
и сносит бескрылые крыши
у тех, кому крыша нужна.
Он движется к милой Итаке
сквозь скучный трепещущий свет.
Летят перелётные танки —
куда? — да кенжееву вслед...

4. ОДА НА ОДНОКРАТНОЕ ВОСШЕСТВИЕ ПОЭТА И ПАРОХОДА БАХЫТА В КРЕМЛЬ

неправо о стихах те думают кенжеев
которые чтут себя бессмертнее кощеев
нездешней пятернёй чужую жизнь листая
и указуя днесь в какой нам бегать стае

небесталанны есть и меж олигофренов
ну быков быканул в рефрены впал ефремов
ан всё это игра и горек привкус грусти
в повапленных церквах пошаливают russy

арабская рука их с глаз не убирала
ласкает либерал — mein lieber! — либерала
что шёпотом стучал да оборзел с оглаской
теперь у их в шкапу скелет и станиславский

ну аки лемминги гуляют толпы геев
мне тьфу на мужиков а баб вот жаль кенжеев
ну опрокинут мрак на этот блеск солярный
однополярный брак и мир многополярный

с фавора схлынул свет и взор безбожный мутен
а оголяют зад — на то и кнут и путин
ну длиньше стала жизнь али душа короче
ну воркутинской ночи потеплее сочи

ну посетив кремлян узнал ты мудрый лик их
природы отдых зрел на правнуках великих
зубами улыбнулся и домой вернулся
нигде не прокололся хоть и фраернулся

в дискуссии не лез лишь в скайпе молвил хмуро
куда ни кинь у нас одна литература
пусть пробует себя в ней всякая дубина
и прежде и сейчас нам целый мир чужбина

пройдёт и эта боль иные сны наваяв
позолотеет век
нам не дожить кенжеев

РУССКОЯЗЫЧНЫЙ

Отец майорские погоны
носил, словно казак с иконы — аж набекрень.
А сын в промозглом интернате
всё прятал хлеб в ногах кровати
на чёрный день.
Отец после ночных допросов
был беспробуднейший философ — он молча пил.
В казённой курточке шершавой
не грезил сын теплом и славой,
язык учил.
Что в молчаливом мальчугане
копилось — ненависть изгнания или любовь?
Рождён со злобной кровью в венах,
он лишь бледнел на переменах,
где били в кровь.
Отец допёк врага народа,
сам ухитрившись до восхода свинец глотнуть.
Сын, без того в сиротской доле,
в детдомовской холодной школе
не смел всплакнуть.
Но выжил. И промчались годы.
И сам полковничьи погоны, сказав: кирза! —
примерил сообразно званию
и душ людских большому знанию.
Закрыв глаза...
Ему бы жить суди природа,
но рак скрутил его в полгода — и рвётся нить.
Неузнаваемо измучен,
открылся он:
язык изучен — с кем говорить?!
Что было дальше — так ли важно...
Легко ли умирать отважно, не скрыв лица?
Обоих погребла лавина.
И Бог молчит,
во имя Сына простив Отца.

КАЛЕМ

Сама арабская вязь
поизысканнее любого орнамента,
хорошо, что я её не умею читать:
смысл расплющил бы и чудо, и тайну.

А. Мелихов

чернь с золотом калем араба слова рождает тишина
на камне вздрагивает слабо строки спиральная струна
на вздохе выдохнется флейта непостижима и легка
покуда купола кувейта горят над маревом песка
и по веленью демиурга или по правилам игры
дробятся смыслы петербурга мумбая мерва бухары

где птица счастья уронила сомненья лёгкое перо
одни деянья азраила зло трансформируют в добро
косноязычный сей архангел в архивы высшего суда
сдаёт по описи охранник всё что сгорело без следа
что сказано давно на свете записано занесено
в анналы и уже бессмертью по сей причине суждено

пророк смолчал про эти стены где временны все времена
и безымянны перемены и неизменны имена
не зря серебряная птица перечеркнула небосвод
дорога караванам снится и водам снится мореход
далёко отступило море мы вслед вздохнём спеша в делах
барханов желтые нагорья откликнутся велик Аллах

возьми перо умерь дрожанье для мира слово запиши
коль так устал от воздержанья всегда несдержанной души

ОЧЕРЕДНОЙ ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД

Ледник, отступая, пятясь и оглядываясь назад, оставляет за собою память о Ледниковом Периоде.

Среди прочего, это они —
глазастые валуны на склонах, глядящие на закат
глазами памятников, ещё не затронутых Словом,
а также катящиеся, дробящиеся, размывающиеся дни.

Человек — мгновенье бабочки на вечности цветка,
но и он, подобно Леднику, оставляет за собою
эпоху длиною в геологический срез.
Нахлынет, мутный, как весенняя река,
Дар — способность почуять тропу к водопою
и исчислить шизоидные алгоритмы небес.

Дар, отступая, покидая тело и душу Икс,
оставляет за собою память о голосе Бога:
так на дне души наркомана — страх утратить иглу.
Поэтому многократно описанный Стикс
с Хароном, etc — не столько последняя дорога,
сколько тропа к водопою, ведущая, впрочем, во мглу.

Остаются камни воспоминаний, сухой песок
событий и прах всего сущего. Что ещё? — разве
что сожаленье о Даре, ломка, ответ огня
веры, любви, надежды и др. — мгновенный бросок,
крик «Отец мой!», растворяющийся в пространстве
плач ребёнка: «На кого Ты оставил меня?»

Мы творим ледниковый период, как заповедал нам Дар.
Мы творим свои подобиya из подручного материала,
в пределах отпущенного срока, без смысла и без числа
содянного. Если бы Господь не был так стар,
вселенная на Шестой День не много бы потеряла
при наличии Его возвышенного ремесла.

На кой же чёрт наплодил Ты, Господи, малых сих, наделал — из праха, из ребра, а после изгнал из рая?! — подумал ли Ты о том, что хватка-то у них — Твоя, что высечет вещь руну на кровавом кострище псих, в календаре обозначит пришествие месяца Мая и миг летящий затвердит на скале бытия.

В чём же мы виноваты? В том ли, что пытались творить — и наплодили тварей, то бишь ублюдков, то бишь подобий своих ли, Божьих — поди разбери...
Что же поделать, коли Дедалу не суждено парить, а Икару — морить минотавров в теснинах надгробий, как же быть нам, Боже, при свете новой зари?

И вот Тебе всё надоело, и Ты решил завязать.
Всё же спасибо, Создатель, за эксперимент рискованный, за небо, над нашей судьбою разверзшееся давно.
Ты нас научил говорить — но есть ли нам, что сказать? — над изморозью родниковой висит эффект парниковый — Новый, Ледниковый! — взамен всего, что было дано.

ПРОРОК

Вот-вот, караванщик, изведешь радость и боль,
сердечную мышцу порвёт инфразвук узнаванья —
и некто в пещере поделится правдой с тобой,
источника, впрочем, по имени не называя,
и мир искорёжит утраты мгновенная мгла,
и всё, что любил, позабудешь в ночи многокрылой,
и, взор не насытив в пространстве незримого зла
ущельем, пустыней, судьбой, колыбелью, могилой,
услышишь, как тягостно сонная вспыхнет заря,
и страх отчужденья растает в медлительном шаге,
и в ноздри верблюдов ворвутся, вздыхая, моря
солёным простором, исполненным влажной отваги.

Склонились к пустыне змеиные взоры небес,
где всхлип родника и томительный вздох терракоты,
где к звёздам нездешним влечет человечество бес
и душу томят бесконечные их хороводы,
где вера вернее надежды, где ночью светло,
где вместе полдневный пожар и ночной полумесяц,
где крест пошатнётся, Страдалец вздохнёт тяжело
и ратники Карла историю вновь перемесят,
где так же сироты-паломники к чёрной скале
бредут, поднимая глаза к непомерному свету,
где сладостно череп в чужой растворился земле,
где Разум извне проверяет на вшивость планету.

Проникнись, вожатый верблюдов, смешеньем смертей —
сколь суетен дух этих всяческих мыслящих тварей
и однообразен: толпа неразумных детей
(прикроют детсад) собирает свой первый гербарий,
и он же — последний: надежды на эксперимент
увы, улетучились, хоть и милы тараканы,
пророк между ними что бронзовый жук-скарабей,
предметное стёклышко, годы, строенья и страны,
и страждущих лава, и эхо эпох и пустынь,

и жаль их, живущих лишь миг, обделённых неверьем! —
казнящий архангел утешен прощеньем простым,
конечным безлюдьем, легчайших веков дуновеньем.

Великий и Шёлковый, Северный или ещё
начертанный клипером под парусами пассатов
путь! — лживая истина, плача, уткнулась в плечо,
но кто же поймёт её? — нет на земле адресатов,
и скудный, безадресный, брошенный — мечется дух,
к щенячьей душе устремилась игла серафима,
и атомный жрец, и адам, бедуинский пастух,
родятся из праха и пеплом взлетают незримо,
когтистая лапа впивается в мёртвый излом,
советский восток неприметной усыпан золою,
и суфий-молчальник летит, соблазнившись Путём,
на кожистых крыльях, подёрнутых адскою мглою.

Ах, бедный погонщик, верблюжьих путей проводник,
за что же тебе откровенья безмерная тяжесть,
зачем тебе музыка, что с тишиной породнит,
и это безмолвье, о коем другим не расскажешь,
и скверный финал, где, над будущим молча глумясь,
столетья спешат — те, которых так недоставало! —
и кровь иноверца легко превращается в грязь,
где прежде одна лишь заря свою кровь проливала,
карнаи ревут, и струится лоза по стене —
ей тысяча лет, те, кто холил её, — бездыханны,
и снова к морям, распрямляя морщины во сне,
спиною к восходу, недвижно стремятся барханы.

ЯЗЫКОТВОРЕЦ

Ещё не выдохлась в спектакле — но горше, выше и смелей
разрубленная на синтагмы невнятица учителей.

Несёт на торжище природа веков реликтовый товар —
кастальского громоотвода громокипящий самовар,

из чёрной мумии цукаты, газетный звон слепых цикад,
разорванные на цитаты постановления ЦК.

Не нас, товарищ, так кого же? — пусть в сердце каждого горит
и мова ридная камбоджи, и сикхов пламенный иврит,

не брагу мутную на рó злив, не чахлый вздох монастырей,
но чуждой боли иероглиф усваиваем мы скорей:

неведомую жизнь итожа, в своём глумливом далеке
услышать тщимся слово Божье на беспредметном языке.

Но, сути вечной промокашка в значенье первом и втором,
над ухом дышит чебурашка с необратимым топором,

он наш народ-языкотворец, дитя америк-азиоп,
он многолик, он макс-и-мориц, он новый русский эфиёп,

он послан гогом и магогом, булыжник — вот его перо,
смесь гегемона с демагогом, внебрачный сын политбюро,

слова он пишет на заборе и сам себя читать спешит —
и чувств волнуемое море его старания вершит:

«Мин нет» — решит сапёр, вздыхая, но свой фитиль судьба зажжёт,
и школьница прочтёт лихая: «Миннет!» — и радостно взоржёт.

НА РАЗВАЛИНАХ ХРАМА АРТЕМИДЫ

Синие волны Смирны ложатся на берег,
серую солью наслаиваясь на плитах,
нечувствительных к зною, заметному для обеих
половинок вселенной, в сером камне отлитых
исключительно для ощущения, что это
делалось исключительно для ощущения:
две ладони, две сердцевины света,
к коим мы не имеем видимого отношения.
Смуглое слово Смирна растворилось в сонорном
звучании Измир — и вышло из моря,
одетое пеной. В дури сановной
нет смысла искать сыновнего взора.
Смуглое солнце Смирны ложится на плечи,
перспектива камня дышит древней смертью,
смертная Смирна бессмертной волною плещет,
мёртвую страсть сменяет живое усердие.
Смирненские турчанки взором цвета инжира
отворяют ворота слову, которого, знаем,
нет в словарях: Измир... Ушедший из мира
вспомнит ли дорогу, беспомощностью обуреваем?
Вспомнят ли дорогу чёрные генуэзцы,
серые крестоносцы, алые византийцы? —
на каменном амфитеатре надеяться неуместно,
что что-то из прежней бездны вернется и возродится.
Что перед мёртвой вечностью наши упования,
споры бранчливых греков и чванливых турок! —
пускай уж себе Афродита из моря идет, напевая,
пускай это пенье слушает глухой европейский придурок.
Всю ночь под сонными веками что-то билось, мерцало,
чем трусливей зажмуриваешься — тем ярче виденье:
море смотрится в неба честное зеркало,
сердце сражается с вечности мёртвой тенью.
О чём ты, жизнь, спросила, чего искала? —
ты знала ведь, знала: в ответ не услышишь ни звука!
Небо смотрится в моря честное зеркало —
и видит саблезубое лицо сельджука.

ВЕЧЕРНЕЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ О ВСЕНАРОДНОМ ДИКТАНТЕ

Года шалунью-рифму гонят...

Sic transit gloria mundi...

Транзитом прёт мирская слава.
Года ж, выстраиваясь в ряд,
«А не пошла бы ты, шалава!» —
шалунье-рифме говорят.

Аналогично и от прозы
создатель слышит в некий час:
«Отец, оставь свои угрозы!» —
и это всё не в бровь, а в глаз.

Но — ждёт. Его момент настанет:
он выпьет гордо свой кефир,
и челюсть вставит, и воспрянет,
и выведет: «Война и мир».

Но жизнь с ухмылкой диверсанта
судьбе командует: «Мотор!» —
и тон тотального диктанта
неумолим: «Вина и Мор».

РУССКИЙ ЯЗЫК

Хрип волхва, стон моления земного,
тьмы века, озарения миг —
нерождённое вещее слово,
безымянный, бескрайний язык,
спесь болот, чащ разбуженный норов,
колокольчик медвяный вдали,
нагота безотчетных просторов,
плоть озябшей безмужней земли...
В час надежды, печали и гнева
волчьей песни не пелось родней,
ой ли, многоголосое древо,
нешто ты — от славянских корней? —
в лихолетьях, сиротских и грозных,
в небреженье побед и скорбей,
молвь корявая, тягостный отзвук
всех надменных людских словарей.
Мой безгласный...

Литавры латыни
и норманнскую серую сталь,
Византии огни золотые,
тюркской степи звенящую даль —
всё ты сплавил в себе воедино,
боль и нежность, безмолвье и гром,
славу, лаву соборного гимна,
звёздный мир и подземный разлом!
Ты лишь совоплотил бескорыстно
тишь молитвы и времени суд,
хмель атак, упоение риска,
отпущенье прощальных минут,
звонкий плач журавлиного клича,
крови вкус в окончаниях слов,
листопад, смутный сон безъязычья
под колоннами колоколов,
путь светил, бессловесные смыслы
и утрат изречённую ложь,

радуг пламенные коромысла,
под которыми век свой живёшь...

Беспощадное тысячелетье,
мир бесправный — к утратам привык.
Нас хранит твоя жертва на свете,
умирающий отчий язык,
лишь в тебе — изначальная правда,
скорбь и счастье, и тяжесть вериг,
радость разуму, сердцу отрада,
Свет ликующий —
Русский Язык!..

ГОРАЦИЮ. EXEGI MONUMENTUM. 1

Памяти переводчиков эпоса

Мы — памятник. Вокруг — эпох слепая плоть,
гранит чумной гордыни, гений грубой бронзы.
Сквозь камнепад времён — поэзии и прозы
мгновенный вечен вздох. И ведаёт Господь:

не ранее, чем голос книжного значка
всё скажет со страниц про власть, и брань, и славу,
страстей неисчислимых огненную лаву,
не раньше мы умрём. И секретарь ЦК

с дельфийской службой обозначат гонорар
безродным иммигрантам местного Востока.
Где прокатился вал взбешённого потока,
где кочевал Манас, растрачивая дар,

мы спели первыми силлабы дымных Трой —
но эолийским слогом русского домена.
Арчовой веточкой горящей, Мельпомена,
нас, вечных, помяни, беспамятством укрой...

EXEGI MONUMENTUM. 2

Non omnis moriar multaue pars mei vitabit
Libitinam...

Не весь умру, лучшая часть меня
избегнет могилы...

Квинт Гораций Флакк. «Ad Melpomenen»

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа...

А. Пушкин

Памятник аз замастырил (без рукоприкладства,
ergo склонен к эффекту исчезновенья),
в чём нищие духом собратья усматривают пиратство.
Но замысел сей направляли иные поползновенья.

Нерукотворных намерений тают последние силы,
монументальные мысли выглядят бредом невинным,
лучшая часть меня, возможно, избегнет могилы,
чтоб очутиться в кунсткамерной ёмкости с формалином.

Вряд ли она впечатлить поколенья способна
видом своим величавым — куда уж тут нам уж тут, скажем,
лобное место, как видим, не столь уж и лобно,
да ведь и нынешних фавнов не испугать Эрмитажем.

Тщетно — сражаясь с мужами, якшаясь с мужьями —
верить, что смысл воспарит над хулой и хвалою:
жизнь, пресекаясь, зря так обращается с нами,
гнусно с её стороны нас видеть заране — золою.

Выставят суть нашу, народу любезную, в зале,
чтобы вакханок толпа всё там переломала, —
милых же дам, что меня без меня б опознали,
станет с годами — я плачу об этом! — так мало...

Ближе придвиньтесь, весёлые вспомнив привычки,
шведки, киргизски, француженки, немки, голландки,
финки, тунгуски, татарки, уйгурки, калмычки,
ну и, конечно, гордые внучки — славянки!

Муза опять же... Её-то куда тут поместишь? —
девственна, да и при этом нематериальна!..
Порознь, Гораций, жили мы, помнится. Вместе ж
памятник ладить — коллаборативно, но нереально.

Что же до формалина как вечной среды обитания —
схож сей раствор по природе с народной тропюю:
сколь ни противься он всяческому зарастанью,
не зарастает, Гораций, только тропа к водопою.

КОЧЕВОЙ РИМЕЙК

...Задыхаясь, спешешь у тяжёлых славянских корней,
дочь Песчаного Жуза, и губы исполнены дрожи.
В можжевельовой мгле твоих ласковых жёстких кудрей
был я скифом и гунном, все прочие прибыли позже.
В можжевельовом пламени чёрных смертельных зрачков,
чья ликующе-лютая гаснет в истоме зарница,
на пожарище этносов, эпосов и языков
я ласкаю твой кесарев шрам в рамке постмодернизма.
Только — ты, только сладостной воли смертельный мотив,
вскрик победы, как звёзды, пролившийся в звонкое тело! —
юрты возле реки отвернулись, глаза опустив,
и смятение сердец лишь река в тишине разглядела.
Глухо фыркает конь, сталь звенит и волхвует луна,
пахнет ветер костром и узорчатой пряной кошмою,
мы истерзаны будущим, в такт нам прогнулись луга
над озёрною тьмой с переливами волчьего воя.
Над прочитанной руной забывчивый книжник угрюм:
не аллаха, не будду — я плоть твою терпкую славил
и умолк. Стиснув зубы, допел мою песню уйгур,
и кипчак подхватил, и казах моих слов не исправил.
По Дороге Соломщика* в мир, в золотые края
стон летит, сохнут слёзы, небесное облако реет,
и весь мир этот — ты, не дочитана книга твоя,
но угасшие руны перо оживить не посмеет! —
в зачарованной мгле загорается храм словаря,
оскорблённые пламенем, гибнут склоненья, спряженья,
табунов половодье и первого мира заря,
а потом — пепелище, утрата, мираж, отраженье.
Все слова — от адама пришли, и кустарник пылал,
и над девством лилит смысл утратило слово в заклатье,
то, что спел на рассвете, кого я в огне увидел —
позабуду легко — сожаленье вины не загладит.
Кочевая тропа, путь по звёздам — всё это в былом,
ну и пусть, я иного не ведаю и не желаю:
сколько мифов успело истлеть у судьбы под крылом —
но под смертной косой я лишь имя твое вспоминаю.

* Саманчынын Жолу (Дорога Соломщика) – Млечный Путь (*кирг.*).

СЕРЕБРЯНЫЕ ШАРЫ

томас вулф на английском а некто бесстрастно на местном
всем предельно известном но в прочих устах неуместном
повествуют о мире как бабочек крылья прелестном
но как явственно розно дрожит восхищённая речь
на крыльцо выбегает всплеснувши руками актриса
лёгкий вздох помогает чарующей бездне открыться
и вот так до столетья до старости мёртвой до криза
до забвенья до крыс чтоб судьбу в крематории сжечь

от евфрона с брокгаузом всеми любимого брема
безымянные жизни текут сквозь пространство и время
и пустеет седло и дрожит одинокое стремя
перекрестье Европ повезёт так спасёт седока
беглеца эмигранта бездомную сирую сволочь
упокоит чужая страна убаякает полночь
не ока енисей сарыжаз сырдарья или сороть
потомак ниагара миссури с акцентом слегка

но всему вопреки в революции чёрно-багровой
тепловую тенью фигуркою в шубке бобровой
статуеткою севрской книпперчевой и темнобровой
а в огромных глазах изумлённая скорбь и пожар
героиня чалмой неумело в толпе очумелой
как челом станет бить и в годов чередё чёрно-белой
лёгкий вульфовский ангел предстанет нам вещью дебелой
но неслышно душа воспарит как серебряный шар

дар россия и женщины дар слёзы по перемирию
в этом шаре горят будто ночь над бездомною ширью
над бурятской атлантикой и аргентинской сибирью
в лету канет серебряный плод безымянной любви
всё забывшей раскаянной всё-таки неопалимой
марсианскою спорой пушинкою тополиной
под чужою горой над родимой какой-то долиной
бедный шарик воздушный лови его не лови

ВЕК БЕЗЪЯЗЫЧЬЯ

Памяти Льва Шеймана

Вот и скончался один, верен и истов,
весь — от родин до седин — из пушкинистов,
вот и шагнул на покой, с верой в бессмертье,
левой усталой рукой грея предсердье,
высоколобый мудрец в шапочке чёрной,
в хитрую дуду игрец, бедный учёный,
жрец, одинокий старик из чародеев,
из книгоцеев, из книг, из иудеев.

Вот и вперил он во тьму старое око,
с не соразмерным ему даром пророка,
даром, что так он скрывал от недоумков,
даром, что прятал в провал, тьму переулков.
Жить не соскучась едва, без многоточья,
сдал он в канун Рождества все полномочья,
соединяя в судьбе твёрдость и гибкость,
удиняя в себе Тору и Библос.

Вот и не переборол хвори и боли —
и ничего не обрёл в смертной юдоли.
Мудрости солнечный звон — тоже обитель:
нищий, творец, робинзон, нравоучитель!
Книжник в разлуке зачах с далью и ширью —
у перемирья в глазах блеск двоemiрья,
где над кострами из книг в детском обличье
учит язычник Язык — в век безъязычья.

Прежде бывало легко и высоко с ним,
виделось так далеко по високосным,
да и по прочим годам, памятным датам,
Слова летучим следам, снам бесноватым.
Это запомните, мы, кто здесь остался,
кто от сумы и тюрьмы не зарекался,
кто не боится сейчас светлого завтра,
кто выбегает встречать Год динозавра.

Будут покровы чисты смертного ложа —
мудрости и доброты тяжкая ноша,
где остаётся печать чести и долга,
где остаётся молчать книжная полка,
где ни земли, ни воды, Божия духа,
ни шестикрылой звезды — только разруха,
только уход на иглу, мимо знаменья —
в потустороннюю мглу,
в холод,
в забвеньё.

ЕВАНГЕЛИСТ

Е. К. Озмителью

Вы о ком засовещались вдалеке,
январём в снегу схороненные листья, —
о герое с папироской, штрафнике,
о язвительном нестаром старике,
коммунисте, анархисте, гуманисте?..

До весны! — звенели стёкла, — до весны!
Он шагнул, держа стакан в руке, из транс,
оступаясь, из январской белизны —
в ночь рождественскую, где слова темны,
в черноту потустороннего пространства.

Дар пророческий, кольцо во мгле морской,
скрыл он, магией не зря его считая,
сберегая, сколько можно, род людской,
племя, с кем тянулось время день-деньской,
закопав скрижаль на берегу Китая.

Кто прочтёт псалом во славу малых сих,
кто сочтёт их рукотворное рожденье? —
век на Шёлковом пути летит, как миг:
всё, что делалось для будущего их,
им не нужно и поэтому — враждебно.

Он летит теперь в сиреновом дыму,
равнодушно и сочтён, и подытожен.
Всё равно, что в рай, он скажет, что в тюрьму...
Всё людское, что недодано ему,
он вернул судьбе. Он никому не должен!

ПЕРЕПЛЁТЧИК КНИГ

Stranger in a Strange Land...

юнец с лицом как вчерашний пикник
с фамилией переплётчика книг
беглец и чужак в чужой стране
чей век серебряным был вдвойне
эпоха молодости полна
вины невинности и вина
шестидесятые путь торят
общаги барды пролетарьят
почти ровесник как лёгкий лист
горнист словесник психолингвист
залётный голос нездешний гость
крыло подбито белеет кость
и хоть предгорий сонная ширь
не каменноугольная сибирь
но в лёгком тьма и мгновенный свет
которому объясненья нет
и мира множится ореол
ширни ещё хоть один укол
стучится призрак не отворить
ушёл и слова не повторить
и синтаксис перестал кровить
и недожитого не отравить
и выдоха не перекроить
ушёл и слова не повторить

РУНА

Кремня и воздуха язык...

О. Мандельштам

Жизнь сползает по склону судьбы, неопознанный натиск —
ропот рек, ропот скал, звёздный гул, сновиденья снегов,
разноцветная осень в ущельях, расколотых наспех.
Серый каменный идол в теснине арчовых лугов,
упокоен в незыблемой эре колхозных угодий,
зрит смирение пастбищ, где внутренний взор напряги —
и два юных ягнёнка, зовомых Кирилл и Мефодий,
иероглиф озвучат движенью морен вопреки.

Омертвелых пространств собеседник — истлевшее время,
нет, мгновенная смерть в поцелуе столетней пчелы.
Нам дороже, чем жало, на старой стреле оперенье,
чем случайная жизнь, на которую обречены.
Как зовёмся теперь, отыгравшие с вечностью в жмурки,
на безмолвном наречье бросавшие вызов судьбе,
безымянные хетты, шумеры ли, гунны ли тюрки,
в мясорубке кочевий почившие в вечной семье?

Кто услышит движенье вселенной и чем он заплатит
за дарованный миг, за бессмертья истерзанный сад? —
бесконечно стада созерцают вращенье галактик
и галактик толпа наблюдает вращение стад,
узкий взор улыбается в плоском гранитном овале
и змеится яремная жила вселенского зла:
мы любить и страшиться любимых не переставали —
и любовь эта силы, года и надежды взяла.

Выбей слово в граните — и юною кровью набухнет
этот первый надрез, мироздания наскальный чертёж,
память вцепится в смыслы, века наслоятся на букве —
убивай этот мир, летописцев его уничтожь,
пусть заплачет скрижаль, но столетья, глаза поднимая,
будут слушать пророков и пялиться молча во тьму,
ибо нечего ждать — кровь на камне не есть пониманье,
и чужие грехи искупить не дано никому.

В камне — плотность звезды и забытая сага о громе,
длящем тысячелетье восходов, где время — тщета.
Мы — надрез на граните, мы крохи запекшейся крови,
Бренность, сретенье жизни и смерти, меча и щита.
Небо грянуло в недра, а воды разгладили грани.
Что нам ложь этих правд, что нам тварная эта заря,
нам, последышам жертвенной силы — что нам умиранье,
говорящим опарышам, что нам душа алтаря!..

Возвращаю подарок небес, ибо не был прозреньем
ада с небом посредник, на ком эта кровь запеклась.
Я из этих сирот, так пронзи меня током подземным,
сердце между мирами успеет ударить хоть раз —
и, как девочка с красной косынкою на повороте,
смертным жертвенным вздохом откликнется эта страна,
и блеснёт на прощанье в письмовнике меркнувшей плоти
сумрак каменной руны, мираж золотого руна.

МГНОВЕНЬЕ

выше эпитафии и посвященья
ниже реки безымянной теченье

но посреди

губы запекшиеся в поцелуе
полдень и пламя и полнолуние
дети и ангелы в час бадминтона
формула счастья брызги фонтана
слёз и вина и судьбы озаренье
вечность прекрасная словно мгновенье
шёпот и смех пополам с тишиною
пламя над нами тьма надо мною

жженье в груди

всё как у всех
закрывается книга
перевернётся неслышно страница
неповторимое
не повторится

не отбирай беззащитного мига
дай насладиться забыться проститься

ах подожди

Содержание

Вера Калмыкова. Отрицание безъязычья	3
--	---

В ЗАЩИТУ СВИДЕТЕЛЬСТВ

Дорога	15
Матрица	16
Песенка кандагарского деда в сахалинской командировке с припевами	17
Два сонета	18
Сомнамбула	19
Пьяный корабль	21
Пешечный гамбит	23
Собеседники	25
Чужая жизнь	26
Хвостохранилище	27
Однокашнику в Торонто	29
Фрунзе, привокзальная баллада	30
Уральский романс.	32
Avec plaisir!..	33
Репортаж	35
Степень родства	36
Молитва на могиле Богоматери в Сельчуке	37
В защиту свидетельств	38
На старых раскопках	39
Звездопад	42
Археографика	43
Арест. Киргизия. 1952	45
Новогодняя ода китайской водке со змеей	46
Факелоносцы	48
Прощанье в Туркмении	49
На ранних поездах	51
Украина. Гнездо аиста	53
Полночное	55
Толстожурнальное	56
«Нас было много на челне...»	57
Зеркало	59

ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН

Жизнеописание	63
«Ночь августа...»	64
Etnographica	65
Киргизская охота	67
У памятника Семёнову-Тянь-Шанскому	69
Цирк «Молодая Киргизия», 60-е годы	72
Вечерний звон	74
Русская Троя	80
Смерть сказителя Саякбая	82
Безымянное имя	85
Горная ведьма	87
Покровитель стад	88
Опиумная тропа	89
Сумерки	91
Рождение рапсода: финал	92
Луна Джергалана	95
Ночной разговор с эпическим героем	96
Сонет Салижану Джигитову	98
Пржевальский	99
Азийский круг	100
Имперская элегия	103
Цыганская баллада о мотоцикле «Ковровец»	105
Покидая степь Сары Арка	108
Лики Азии	112
Дервиш в городском пейзаже	114
Монумент в Дубовом парке	117
Недоиммигрант	118
Государственное танго	120
Ода цветным революциям	122
Киргизский дискурс. 2010	124
Плач по южным долинам	126
«От зарева луны укрыться не надеясь...»	128
Евроазис	129

КАРТА МИРА

Карта мира	133
В ОЖИДАНИИ ВАРВАРОВ	136
Турин, улица Советского Союза	136
Антикварный рынок в Экс-Ан-Провансе	137
Ницца, бульвар «Прогулки англичан»	139
Лестница в Каннах.	141
Казино в Монте-Карло.	143
Одиночество в Марселе	145
Художники Монмартра	147
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЗЕМЛИ	149
Рождество в Вифлееме	149
Рождество в Таш-Рабате	152
Рождество в России	154
Бегство в Египет	156
Река Января	159
Под рождественской звездой	160
Чуйский тракт	162
МЕРАНИ	163
Реквием в антифонах	163
ТЮРКСКОЕ СЛОВО	169
Диван лугат ат-турк	169

...НО СЛЕПКИ ДУШ И СИЛУЭТЫ ЛЕТ

Река Аламедин возле старого автовокзала	181
Ata yurt	183
12.12.12	184
Из жизни роботов	185
Хохлацкая баллада	186
Неуслышанная юность наша...	189
Элегия	190
Мои бабушки	191
Эскиз на заседании учёного совета	193
Старый бульвар Дзержинского	194
«...ты прежняя была...»	195
Аламединский романс	197
Иов	198

Чаша	199
Неотправленные письма	200
«Скрижали сотрутся...»	202
Двойняшки	203
28 октября 1967.	204
«В Париже, в несусветном марте...»	205
Встреча	206
Каинова печать	207
Киргизия, Кукурузный Христос	208
Чёрно-белое	210
«ветер заблудился...»	211
Фото: ночь под платаном	212
Снайперша	213
История любви	215
«Как в анекдоте, в мареве седин...»	219
С тобой, Lili Marleen...	220
Граду и миру	221
Русский след	222
«Рожь, рожь, дорога кочевая...»	224
Роальду Сагдееву	225
Москва, тёплое лето Пятьдесят Шестого	227
Мессианский романс	229
Над планетой кукушек	230
Школьный вальс	232
Сон о неслучившемся вокализе	234
Калькулятор на солнечной батарее	235
Демиург	236
Групповой портрет	237
Платок	238
Мать	239
Династические стансы	240
Нечто о рыбалке	241
Рассуждение для вьюноша Никиты Салимбаева о множественности миров	242
Сопрано	244
Театральный романс	245
Вниз по Сене	247
Записка	248
Утреннее ралли	249

Эвридика	250
Старый микрорайон в горах	251
Авиаэтнод	252
Так давно	253
Шлягер	254
Вслед кораблю	255
«В стороне от звёздно-подземных трасс...»	256
«ночью врубаются звонче иных бензопил...»	257
Поминальное	258
1965–	259

РУНА

«В глубоком колодце на дне не увидеть звезды...»	263
Бог есть Язык	264
«В час, когда усмехнулся Создатель миров...»	267
Вечерний пейзаж	268
Фирдоуси	269
Языки	270
Околоколодезное	271
Памяти Заболоцкого	272
Самсониада	273
Первозванный	275
Ода пишмашинке	277
Хранитель древностей	278
L'art poétique...	280
Чужой алтарь	282
Гончар	284
«Зри пределы суши людской и земной воды...»	286
Штрихи к чужой истории	287
Фото на путеводителе по Иерусалиму	288
Гектор	289
Петербургская здравница	291
Советская школа перевода	292
Вспоминая Михаила Ронкина	294
Нам не дожить, Кенжеев	296
Русскоязычный	300
Калем	301
Очередной Ледниковый период	302

Пророк	304
Языкотворец	306
На развалинах храма Артемиды	307
Вечернее размышление о всенародном диктанте	308
Русский Язык	309
Горацию. Eхegi monumentum. 1	311
Eхegi monumentum. 2	312
Кочевой римейк	314
Серебряные шары	315
Век безъязычья	316
Евангелист	318
Переплётчик книг	319
Руна	320
Мгновенье	322



Вячеслав Шاپовалов
БЕЗЫМЯННОЕ ИМЯ

ИЗБРАННОЕ ХХI

Книга стихотворений

Издательский проект «Русский Гулливер»

russian_gulliver@mail.ru gulliverus.ru

Поэтическая серия

Руководитель проекта Вадим Месяц. Редактор серии Андрей Тавров
Редактор Ирина Тодрина. Оформление и верстка Ирины Усачёвой

Подписано в печать 29.01.2021. Формат 60х90 1/16. Печ. л. 20,5. Тираж 500 экз.

Отпечатано с готового оригинал-макета АО «Т8 Издательские Технологии»
109316, Москва, Волгоградский проспект, дом 42, корпус 5. Тел.: 8 (499) 322-38-30



ВЯЧЕСЛАВ И. ШАПОВАЛОВ

Народный поэт Киргизии, заслуженный деятель культуры, лауреат Государственной премии КР, международных литературных премий, автор 12 поэтических сборников, переводчик поэзии Запада и Востока. Доктор филологических наук, профессор. Родился и живет в Киргизии.

Он как бы сам себе создал образ эпохи, закапсулировался в ней, изобразив на собственной шагреневои коже собственный портрет века. То, что эта поэзия наполнена реалиями совершенно иного мира, ещё более резко оттеняет её смыслы: наверное, это своеобразный плач по культуре. Впрочем, сейчас трудно найти большого поэта, который не говорил бы, не плакал бы об этом...

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ, СЕМЕН ЛИПКИН (Москва, Бишкек)

В его поле поэтического зрения — огромные пространства и времена... Богатый словарь, широкий диапазон живой речи — от просторечья до высокого слога — создают стилистическую свободу и силу словоупотребления, подкреплённые разнообразием свежей и острой рифмы. Живая русская речь, сдобренная ветрами восточной поэзии, способствует впечатляющему эффекту его творческого облика. Шаповалов — один из самых ярких и оригинальных русских поэтов нашей современности.

ДАНИИЛ ЧКОНЯ (Кёльн, Германия)

Редчайшее сегодня явление гармонии и трагедии в одном слове. «Русских азиатков», хранителей и ревнителей двух культур, остались считанные единицы, и вы — первый среди равных. Я всегда читала эту традицию и любила стихи В. Державина, С. Маркова, «азиатские» поэмы В. Луговского и, разумеется, Павла Васильева, с которым нахожу у Вас много общего. Только Вы в силу обстоятельств гораздо зрелее и умеете обуздывать и подчинять стиховую стихию. Я уверена, Ваш читатель жив, даже если пока не знает, чего лишен.

МАРИНА КУДИМОВА (Москва)

Зрелые, мужественные, богатые стихи — и интонацией, и эрудицией, и неповторимым чувством обитания в мировой культуре, включающей — в силу особенностей биографии — не только Запад, но и Восток. Во всяком случае, лирическое «мы» (голос поколения) в них явно преобладает над лирическим «я».

БАХЫТ КЕНЖЕЕВ (Нью-Йорк)

РУССКИЙ
ГУЛЛИВЕР

ISBN 978-5-91627-265-9



9 785916 272659